

**М.Н.Ляховъ**

**По Галиціи, три года назадъ.**

**Казань  
1917 г.**

### *Предисловие старшего внука*

*Эти заметки-воспоминания написаны моим дедом, Ляховым Михаилом Николаевичем. Печатались они в 1917 году в одной из казанских газет. Кто-то из его сыновей: либо Борис, мой отец, либо Сергей, мой дядя – разыскали эту газету в Москве в библиотеке им. Ленина, где хранятся все печатные издания, заказали фильмокопию, которая отцом была передана мне. Когда-то я в меру своего умения сделал фотоотпечатки; качество их было, мягко говоря, не очень высокое, но прочитать можно. А летом 1999 года я заказал отпечатки профессиональному фотографу. Фото тоже не высшего качества, но «ксерокопировать» можно... Что я и сделал с намерением переслать по экземпляру всем внукам деда Михаила.*

*Еще немного информации...*

*Как следует из текста заметок, с 11 августа и до середины декабря 1914 года дед Михаил в составе саперного батальона 8 армии прошел путь по Галиции от пограничной в то время реки Збруч (г. Волочиск) до города Ясло, самой западной точки Галиции.*

*Саперный батальон имел в своем составе понтонеров, прожектористов, какие-то еще подразделения, а дед в чине прапорщика был в батальоне «помощником начальника хозяйственной части батальона», имел ординарца.*

*На мой взгляд, дедовы зарисовки армейского быта, нравов местного населения очень интересны. Надеюсь, что эти заметки будут интересно прочитать и ныне живущим следующим поколениям.*

*Ляхов М.Б. – внук, август 1999 года*

### *Предисловие младшего внука*

*Идея перепечатать этот текст в современной форме русского языка пришла мне в голову по ряду причин. Во-первых, читать все же легче такой текст, нежели прежнее письмо с его твердыми знаками и ятями. Во-вторых, набирать текст с помощью современных компьютерных средств не так уж и сложно.*

*Но, может быть, самое главное заключается в том, что, набирая текст, я как бы сам проходил вместе со своим дедом по дорогам Галиции. Мне, лишенному в детстве родных бабушек и дедушек (никому из них не довелось дожить даже до шестидесятилетнего возраста), очень хочется хоть теперь, что называется постфактум, прикоснуться к их жизни, их думам и чувствам.*

*Михаилу Николаевичу шел в то время всего лишь 27-й год. В Самаре оставалась семья и двое сыновей: четырех и двух лет от роду. Младший из них, Борис через много лет стал моим отцом.*

*Сугубо мирный человек, Михаил Николаевич изумлялся той разрухе, с коей пришлось столкнуться на дорогах войны. Он и представить не мог тогда, в 1914 году, что ожидает его самого и его семью совсем скоро, когда безумие Гражданской войны в России и последовавшая затем «диктатура пролетариата» навяжут родной земле совсем другую жизнь...*

*...Еще у меня и моего старшего брата Михаила возникло желание приложить к этому повествованию подробную карту Галиции, благо теперь такие возможности появились. Я сам очень люблю «ползать» по картам, образно представляя местность, деревни и города, где я когда-либо бывал. И даже если не доводилось...*

*На карте мы отметили путь дедова батальона, и теперь каждый читатель может «осмотреться» в любом пункте, мысленно расставить палатку рядом с обозами Первой мировой и подышать воздухом того военного времени.*

*В ходе подготовки этого издания родился план (призрачный, конечно) пройти вместе с потомками<sup>1</sup> Михаила Николаевича дорогами Галиции и написать очерк с фотографиями: «Много лет спустя». Дай-то Бог.*

*Ляхов Ю.Б. – внук, лето 2002 года.*

<sup>1</sup> К началу XXI века прямых потомков Михаила Николаевича насчитывается 50 человек (!), из которых в живых к середине 2002 года было 45 человек (7 внуков, 17 правнуков и 21 пра-правнук) (прим.Ю.Л.)



**На фотографии, сделанной перед отъездом главы семейства на фронт и датированной августом 1914 года, изображены Ляхов Михаил Николаевич, его жена Любовь Александровна, урожденная Пятницкая и дети: Сережа (1910 года рождения) и Боря (1912 года рождения).**

## I

Как давно все это было... Целых три долгих года...

Если бы нам, отправлявшимся тогда из Самары на войну, сказали, что ровно через три года не будет еще и проблеска мира, что летом 1917 года мы будем от него стоять чуть не дальше, чем летом 1914 года, мы бы искренно рассмеялись.

Да и не мы одни.

Тогда все еще верили, казалось, авторитетным заявлениям экономистов всех рангов, в один голос твердивших, что государства Европы настолько связались многочисленными нитями экономических отношений, настолько велика их экономическая зависимость друг от друга, что первые недели этой грандиозной войны, зажегшей своим пожаром чуть не все великие державы, приведут участников ее к колоссальному краху, и война замрет сама собой.

С мыслями об этом, с надеждой вернуться по домам, самое большое к Новому Году, мы и ехали к неведомому будущему и с этими же надеждами высадились из поезда у Волочиска.

Первое дыхание войны пахнуло на нас здесь.

Сожженный вокзал, обгорелые столбы станционных пакгаузов и между ними длинные ряды, видимо, недавно полученных из Австрии, молотилок. Тоже обгорелых, искалеченных.

Говорили, что все это – дело рук перестаравшегося станционного начальства: при первых известиях об открытии военных действий, оно, не дожидаясь каких бы то ни было распоряжений, поторопилось дочиста спалить Волочиск, хотя никакой непосредственной опасности ему не угрожало.

Интереснее всего, что одновременно с нашим Волочиским пылал и австрийский Подволочиск, также подожженный своими.

Отдохнув сутки после семидневного железнодорожного путешествия, тронулись в поход. Еще в Проскурове командир нашего саперного батальона получил сведения, что наш 24-й корпус ушел далеко вперед, и теперь нам предстояло его догонять. Предвиделись большие, утомительные переходы.

Ровно в 12 часов дня 12 августа перешли у деревни Тарноруда государственную границу.

Полуразрушенный австрийцами мост через известный теперь Збруч был наскоро починен своими же саперами и после часового обеденного «большого» привала, мы двинулись уже по австрийской территории.

С любопытством осматривались мы по сторонам...

Невольно хотелось поскорее увидеть ту «заграницу», о которой у каждого из нас сложилось определенное представление...

Увы! «заграницы» не было... Она ничем не отличалась от нашего юго-западного края, по которому мы тащились черепашим шагом от самого Киева, простаивая по несколько часов на каждом полустанке.

Те же кукурузные, картофельные поля, те же мазаные деревушки с чисто русскими названиями, - «Ивановка», «Поповка», «Туровка», «Новоселки», та же хохлацкая речь их обитателей, те же прекрасные шоссе, обсаженные деревьями. Только библейский облик и выдержанный костюм местных евреев были

непривычны нашему «волжскому», Самарскому, Симбирскому да Казанскому глазу.

Первые три-четыре перехода тяжело дались мне, человеку за месяц до этого стоявшему чрезвычайно далеко от всего военного и мирно проживавшему на даче в Раифской пустыне. Не было ни нужного навыка, ни необходимой тренировки.

Уже со второй половины дня трудно было найти удобную позу на седле, ноги болели, разбирала слабость. И как я завидовал любому рядовому солдату, имевшему возможность, сейчас же после остановки на привале, развалиться, где Бог послал, и лежать, лежать...

У меня же на привале была масса хлопот. По своей обязанности помощника начальника хозяйственной части я должен был устанавливать наш многочисленный обоз, бесконечные двуколки, тяжелые интендантские повозки и громоздкие шестерочные полупонтоны. Не меньше часу уходило на это и когда я, в конец разбитый и охрипший, разыскивал свое место, то было не до ужина, и я как сноп валялся на своего «Дементя» - походную кровать, приготовленную денщиком.

Куда мы шли? Неизвестно.

У командира пока была определенная задача: догнать свой корпус, с боем идущий где-то впереди. Однако, в первые два-три перехода никаких намеков на близость его не было. Не слышно было хотя бы отдаленной канонады, не видно и признаков врага.

Мы уходили по 40 верст в день в глубину Австрии, и никаких зияющих ужасов войны перед нами не было. И только тучи пыли, стоявшей с обеих сторон на горизонте, говорили нам о той массе людей, бесконечных вереницах обозов, которые именно «вторглись» в Галицию и безудержно двигались вперед и вперед.

Полнейшее отсутствие даже намека на австрийцев заставляло наиболее осторожных из нас опасливо качать головами:

«Не зря ли мы прем?! Не гадость ли какую-нибудь нам готовят австрияки? Очень уж гладко все идет... Очень не похоже на настоящую войну».

## II

Гржималов... Трёмбовля... Доброполе...

Все те же мазанки, те же расшитые разноцветными шнурками кафтаны и куртки сизоусых, бритых русин, те же подстриженные челки русинок. Стереотипное приветствие «Слава Иисусу!» испуганных жителей, в глазах которых так и читаются и смертельный страх, и молящая просьба...

В Монастержиске опять пахнуло войной.

В огне целые улицы этого небольшого, еще недавно чистенького городка, первым встретившего наши войска.

Полнейший хаос и разгром во дворе громадной трехэтажной табачной фабрики. Говорили, что из-за ее забора были встречены пулеметным огнем наши Стародубовские драгуны, понесшие здесь свои первые потери. Интеллигенции совсем не видно, к домам прижалась напуганная беднота, с ужасом смотрящая на бензинные двуколки нашей прожекторской роты, бешено мчащейся по горящим улицам.

В одном месте какая-то свалка...

Мчусь туда. С десятков оборванных русин и евреев обоего пола толкаются с чайниками в руках вокруг громадной бочки с керосином.

«Ваше благородие!» – кричит солдат. Это они керосин разбирают, чтобы дома поджигать! Наши сейчас видели!»

«Бей бочку» – кричу я в ответ.

Два солдата расталкивают толпу и колотят в днище ступицей разбитого колеса. Три, четыре удара и керосин льется в придорожную канаву, быстро впитываясь в сухую землю.

Может быть поджогов на самом деле и нет, но где тут разбирать... Наши уже далеко впереди. Я пришпориваю свою «Тропоту», маленькую, лохматую, но быстроногую лошаденку и горящий и разгромленный Монастержиск остается за спиной, застилая утреннее солнце дымом своего пожарища.

Через полперехода от Монастержиска село Тустобаба.

Большой привал.

Останавливаемся на поле, рядом с помещичьей усадьбой, по местному «фольварком».

Уставив свой обоз, и наскоро закусив, иду на господский двор и вхожу в дом.

Боже, какое разрушение!...

Окна выбиты, рамы сломаны, мебель буквально в щепках, рояль в зале целее другого, но и он без струн, с оторванной крышкой, исцарапан, избит. Даже большие изразцовые печи разбиты вдребезги и груды кирпича мешают пройти по комнатам.

И ведь этот дом под обстрелом не был, в него не попал ни один снаряд. Все это дело рук человеческих в буквальном смысле слова.

Кто это сделал? Кому нужно все это бессмысленное разрушение, задаюсь я вопросом и ищу на него ответа у солдат уже бывших здесь к нашему приходу. Говорят, что первыми грабеж начинали неизменно местные жители, воспользовавшись как уходом владельцев, так и эвакуацией провинциальных властей. «Ну, потом, конечно, и наши подбавляли»...

Приближаемся к Галичу.

Что он из себя представляет, никто не знает. Кое-кто говорит, что Галич – первоклассная крепость, где австрийцы собираются оказать упорное сопротивление.

Вдруг наш обоз получает неожиданное приказание свернуть верст на 20 в сторону и расположиться в селе Завалов. Говорят, что мы здесь должны ожидать, пока не кончится операция у Галича.

Дивное местечко.

Глубокая долина с вьющейся Золотой Липой.

Чернеет старый парк с замком посредине.

Проходим мимо большой водяной мельницы. Гулко отдаются в ее потемневших стенах удары копыт по мосту.

Начальник хозяйственной части поручает мне осмотреть усадьбу. Я пришпориваю «Тропоту» и мчусь во двор.

Пусто, хоть шаром покати. Как вымершие, стоят многочисленные службы, и смотрит старый замок, возвышаясь своими четырьмя угловыми башнями. Сворачиваю в сад и скачу по пустым аллеям, мимо роскошных клумб с помятыми, поникшими цветами, мимо одиноко белеющих статуй, причудливых беседок...

Никого нет. Как вымерло все.

Располагаемся во дворе в амбарах, службах. Дом почему-то было решено не занимать.

На утро иду туда, в это громадное здание «покоем», с толстыми, сажеными стенами.

И здесь та же картина разрушения, хотя в меньшей степени, чем в Тустобабе. Мебель, хотя и ободрана, но цела. Зато громадные, до потолка трюмо разбиты вдребезги, – видимо, уже слишком велик был соблазн запалить в них камнем...

Вот детская. Стоят пустые кровати, матрасики на полу, разбросаны игрушки, громадная кукла с разбитой головой удивленно смотрит на меня уцелевшим глазом...

Библиотека... На полу – слой в пол-аршина немецких и польских книг в роскошных переплетах...

Как-то дико топтать их...

Заглядываю в чуланчик под лестницей. Фотографическая лаборатория хозяина. Ванночка, негативы...

Каждый шаг в этом, ныне мертвом доме говорит, что беззаботная богатая жизнь внезапно оборвалась, как лопнувшая струна, оставив после себя жалобный, стонущий звук. И этот тихий стон чудится мне на каждом шагу среди всех этих вещей – книг, негативов, игрушек, напоминающих о спокойной, радостной жизни.

На одной из угловых башен домашняя капелла. Здесь все цело, и как-то странно, после всего виденного, смотреть на царящий тут порядок.

Среди дня получаем приказание, экстренно отправить к Галичу сотню ножниц для резки проволоки. Сразу становится жутко при мысли о том, какая страшная участь ждет тех, кому они посылаются.

К вечеру приходит ошеломляющее известие: «Галич взят. Немедленно выступать».

Не верим своим глазам.

Как?!...

Так скоро?!...

Слава Богу, значит, и ножницы не понадобились...

Идем всю ночь. И под утро, усталые, останавливаемся среди поля. Начинает моросить дождь. Забираемся под повозки – палатки разбивать некогда.

Светает.

Оказывается – Галич под боком. Шумит быстрый Днестр, журча и пенясь под наскоро устроенным нашими саперами мостом. Свой, местный мост, конструкцией напоминающий цепной Киевский, взорван австрийцами и лишь приспособлен для перехода наших.

Перебираясь с одним офицером на ту сторону, я останавливаюсь разочарованный. Это Галич? Древняя столица Романа и Мстислава Галицких?... - Маленький, грязный, скверный городишко, только имя которого напоминает о его прошлом.

И здесь мы не догнали всех полков своего корпуса. Они уже бросились преследовать австрийцев, еще вчера оборонявших, хотя и не особенно упорно верки Галического предместного укрепления. Но все же мы установили с родными полками связь. Наши саперные роты уже отделились от нас, и пошли к своим дивизиям, где будут нести настоящую службу.

На берегах Днестра перед Галичемлюдно и шумно. Какие-то войска, многочисленные обозы. Среди дня слышится приближающееся «ура». Идет командир корпуса и поздравляет с взятием Львова.

Через сутки двигаемся дальше, на Миколаев. Ходят слухи, что он сильно укреплен.

Идем мимо бесконечных рядов проволочных заграждений, тянущихся непрерывной полосой многие версты, и брошенных австрийцев без боя. Боже, какая масса проволоки... Тут ее буквально сотни тысяч пудов... Временами объезжаем брошенные австрийцами повозки, незнакомого вида зарядные ящики. Солдаты внимательно все осматривают, ощупывают громадные, на славу сделанные колеса с шинами в палец толщины. Качают головами и идут дальше.

Все чаще попадаются оставленные австрийцами груды амуниции. Они производят курьезное впечатление: будто целый отряд буквально разделся догола и утек без оглядки... Чего, чего тут только нет!... Шинели, куртки, белье, прекрасные желтые ботинки на толстейших подошвах, палатки, рыжие телячьи ранцы, фляги, котелки, штыки и груды, буквально целые груды ружейных патронов.

Солдаты с любопытством все это разбирают, встряхивают, примеривают.

### III

Вот уже полторы недели, как мы идем по Галиции. Углубились почти на триста верст, взят Галич, но неприятеля не видно, а главное не слышно.

Ну, право же, не будь разграбленных и сожженных городков, да груд австрийской амуниции на полях, нельзя даже сказать, что сейчас война. Только плохо, что мы отрезаны от всего мира и не знаем, что делается на белом свете. Последние газеты мы читали еще в Киеве, больше двух недель назад.

Проходим пустые разграбленные города Бурштын и Ходоров. В последнем поживились сахаром – нашли громадный сахарный завод и в головах, и в мешках, и в аккуратных пачках по пять килограмм.

Везде одни и те же картины. Пустынные улицы, разграбленные дома, несмотря на выставленные в окошках иконы. Кое-где уже потухшие пепелища.

В какой-то брошенной деревушке наткнулись на тяжелую картину. В одной халупе лежала в полузабытьи молодая женщина с рассеченным сабельным ударом животом. Рядом – годовалый ребенок с простреленной ногой. Наш доктор перевязал обоих, сказав, впрочем, что женщина не проживет более четырех часов.

Чьих это рук дело так и осталось тайной: несчастная была всеми брошена, только голодная кошка бродила по обгорелым развалинам соседней халупы.

Идем по краю обширного плоскогорья. Налево то приближаясь, то отдаляясь змеится по долине Днестр. Широкий горизонт слегка закрыт туманной дымкой, над которой что-то темнеет. Догадываемся. Карпаты. Тщетно смотрим в бинокли. Ничего разглядеть нельзя, только абрис их отчетливее вырисовывается на вечернем небе.

Изредка доносятся глухие раскаты пушечной пальбы. Наконец-то! Давно пора! Как-то сразу запахло войной...

Всматриваемся в туманную даль на звуки выстрелов, несущихся от Карпат. И время от времени то там, то тут вспыхивает на горизонте быстрая искра и через несколько секунд докатывается глухой удар, так знакомый теперь Казанцам...

Ночлег на полугоре у большого села Бржоздовцы.

Тревожная ночь. Село пылает и оттуда несется к нам в гору целый хаос звуков, из которого временами выскакивают то резкие крики, то сухие, отрывистые ружейные выстрелы. К полуночи они учащаются, переходя в непрерывную трескотню. В чем дело – не знаем.

На дороге мимо нас – немолчный грохот и пыль столбом. Всю ночь идут бесконечные обозы, громыкает артиллерия, парки, а к утру начали колыхаться запыленные ряды измученной пехоты.

«Кто такие?»

«Стрелки... четвертой стрелковой...»

«Откуда?»

«Из-под Станиславова... Без отдыха...». И сразу проникаешься уважением к этим черным, потным людям, покрытым слоем серой пыли – Станиславов отсюда более 70 верст...

Через неделю мы узнали, что эта бригада после такого тяжелого перехода была без отдыха брошена в бой и с честью поддержала свои боевые «Драгомировские» традиции.

За переход до Николаева узнаем, что и он взят...

Это становится странным. Когда же начнется настоящая война? Где австрийцы? Почему они не оказывают должного сопротивления? Ведь уже сколько превосходных позиций, сплошь заплетенных колючей проволокой, мы миновали...

И опять лезет в голову докучная мысль: «Не подвох ли это?... Что-то уже очень подозрительна такая податливость!...»

Отрезанные от газет, мы не знали, что в это самое время кипели ожесточенные бои у Люблина, Белгорая, Красностава, что австрийцы все свои главные силы бросили тогда на север, стремясь отрезать весь наш Привислинский край.

Мы и не подозревали, что против нас, шедших со стороны Каменец-Подольска, австрийцы оставили только небольшие заслоны и лишь после падения Галича обратили свое внимание на нашу 8 армию, лихой командир которой, генерал Брусиллов, уже слишком стал насаждать на них.

Проходим мимо Николаевских фортов, высящихся справа на горке. Здесь третьего дня пострадал один из полков 48-й дивизии, ринувшейся без должной разведки в ночную атаку и наткнувшийся на проволоку.

Здесь сложил свою голову лихой батальонный командир, общий любимец подполковник Герштенцвейг. Его и остальных убитых хоронили во время нашего прохода как раз на том самом форту, у подножья которого они пали.

В Николаеве все те же знакомые картины разрушения, уже не бьющие теперь по притупившимся нервам.

Остановились на окраине, расположившись в уцелевших халупах.

Из осведомленных источников говорят о несколько дневном отдыхе. С наслаждением разоблачаемся и предвкушаем «настоящий» обед с супом и жареным. До сих пор пробавлялись чаем, да переболтанными щами из походной кухни.

Вдруг за окошком выстрел... Другой... Третий... ... Десятый....

Форменная трескотня...

Что такое?

Нападение?... Днем?...

Бежим во двор. Солдаты палят вверх.

Аэроплан!...

Где?

Вон... Вон...

Боже мой, еле найти... Самое меньшее две версты... Стрелять – даром патроны тратить... Еле уняли расхोдившихся солдат. Методический треск австрийского мотора еще несколько минут несется с заоблачной выси и, наконец, постепенно удаляясь, замирает.

На утро опять лаконичное приказание: «Идти дальше по Львовскому шоссе. Остановка будет указана».

Это начинает надоедать. Где же конец?! Но разговаривать не приходится – тогда еще ни митингов, ни резолюций не было...

Встаем недовольные и идем. Николаев остается позади, и мы вытягиваемся на прямое, как стрелка, шоссе на Львов, который отсюда всего в 40 верстах. Попадем ли мы туда? Вот бы хорошо!...

Вдали влево видим змеи пехотных колонн, сворачивающих с шоссе. Это наши полки расходятся по боевым участкам. Ожидаются серьезные операции. Австрийцы вдруг ожили и, объявившись в солидных силах, стали обнаруживать наступательные намерения. Ходят упорные слухи, что они получили категорический приказ отобрать обратно Львов, чего бы это ни стоило.

Идем в тучах пыли. Прекрасное, еще не испорченное нашими обозами шоссе забито в три ряда.

Чего, чего тут нет... Артиллерийские парки, подвижные госпиталия, хлебопекарни, дивизионные обозы, какие-то казачьи части. Время от времени проносятся, лавируя между повозками, юркие мотоциклисты с неизменным свистком в зубах. Гудят и рычат автомобили с каким-то начальством.

Двигаемся до тошноты медленно, с остановками через каждые четверть часа. То и дело где-то впереди образуются «заторы», приходится кого-то пропускать вперед. К полудню прошли не больше 10 верст и, согласно полученным указаниям, сворачиваем с шоссе вправо и располагаемся на привал в небольшой деревушке Бродки.

Откуда-то слева еще с самого утра доносится отдаленная пушечная канонада, с каждым часом усиливающаяся. Похоже на раскаты далекого грома. Упорно всматриваемся, но ничего не видим – утренний туман застлал даль плотной дымкой.

От Бродок Львов всего в 30 верстах. Однако дальше идти нельзя. Позиции нашего корпуса – верстах в 10 – 15 от этого же шоссе по другую его сторону, в районе небольшой речки Верещицы, из-за которой ведут наступление австрийцы.

#### IV

Следующим утром (27 августа) пушечная канонада начинается с самого рассвета.

Командир батальона уезжает с адъютантом в штаб корпуса, расположившийся где-то вблизи боя. Среди дня и мы трогаемся туда же, имея своей ближайшей целью деревню Попеляны, верстах в 8 от шоссе.

И у самых Бродок и вдоль дороги на Попеляны группы раненых, первых увиденных нами. Меня поражает, кажущееся на первый взгляд странным обстоятельство – почти все ранены в руки, немного – в ноги. Других не видно. Ищу объяснения у встречного врача. Ответ до чрезвычайности прост: «Раненых в грудь, живот, голову не меньше... Но вы их не видите, потому что они не

могут самостоятельно передвигаться, их везут в повозках, наиболее же тяжелые, не могущие вынести немедленной эвакуации, лежат в дивизионных лазаретах».

Идем к Попелянам.

Канонада приближается, вернее, мы приближаемся к ней.

На чистом, ясном небе вспыхивают вдали белые, аккуратные шарики шрапнельных разрывов и долго, долго висят в воздухе, как бы не решаясь растаять. Из-за леса прямо перед нами поднимается густой дым какого-то пожарища.

Попеляны в долине. Они сплошь забиты какими-то обозами. Настроение приподнятое, выжидательное.

Оставив свои повозки, отправляюсь искать удобного обсервационного пункта, которого, как назло, нигде нет. Попеляны упираются в небольшой лесок, загораживающий почти весь горизонт.

Иду влево, перелезаю через какие-то заборы, выбираюсь на деревенское кладбище. В полуверсте отсюда небольшая горка, с которой, вероятно, все видно отлично, но идти туда не решаюсь: начальник хозяйственной части, в ожидании новых распоряжений, просил не уходить далеко.

Довольствуется тем немногим, что видно отсюда.

Прямо передо мною верстах в пяти чернеет лес, уходящий далеко влево. Над ним, вернее, над его опушкой целая туча шрапнельных разрывов, как я потом узнал, наших, так как оттуда австрийцы вели свое главное наступление. Направо, на возвышенности – большое село Гуменец. Оно пылает, по-видимому, с первого до последнего дома – целое море огня и дыма колыхается над злополучным селом. Да и не мудрено.

Шрапнельных разрывов над ним не меньше, чем над лесом. Десятки их висят над пожарищем... Какой ад вероятно там... Это уже, несомненно, австрийские разрывы – с высоким прицелом, белые, аккуратные. Наши – висят значительно ниже, какие-то рыжеватые, рваные. Дым от пожара Гуменца виднелся нам из-за леса с дороги.

Артиллерийская канонада гремит без умолку, отдельных выстрелов положительно не разобрать.

Изредка, в моменты сравнительного затишья, доносится хладнокровное татаканье пулеметов, но где именно – определить невозможно.

Но, вероятно, это был момент почти исключительно артиллерийского боя. Сколько я не напрягал глаза, не мог разглядеть признаков какого-либо движения в небольшом поле моего зрения, от опушек черневшего слева леса до окраин пылавшего справа Гуменца.

Возвращаюсь на место стоянки, на окраине Попелян, на берегу крохотной, в два шага шириной, речушки. Здесь хотя и чувствуется тревожная напряженность, но все же шумно и оживленно.

Одну за другой приводят партии пленных. Конвоируют солдаты, только что их забравшие. Они возбуждены и горячо рассказывают подробности.

Пленные, которых скапливается все больше и больше, молчаливы, сумрачны, видимо, сильно утомлены. Наши стоят вокруг них плотным кольцом и внимательно, не отрываясь, рассматривают этих, в большинстве белокурых, голубоглазых людей, которые безучастно сидят и лежат перед ними, меланхолично посасывая свои большие трубки с изогнутыми чубуками.

Вот только что привели троих офицеров. Один из конвоиров оживленно рассказывает, как «вот этот высокий, здоровенный какой, собачий сын, с

ливольвером на нас... чуть отняли...». Высокий рыжий австрияк чувствует, что говорят про него. Он, видимо, сильно взволнован, но старается это скрыть.

Обводит нас светлыми глазами и не знает, куда деть свои руки. Вечереет.

Канонада начинает понемногу стихать.

Располагаемся на ночлег.

Приезжает из штаба корпуса адъютант. Его засыпают вопросами.

«Положение неопределенное. Пока известно, что против наших двух корпусов валят шесть австрийских. В общем, тяжело. Завтрашний день все выяснит».

Ложимся спать, но не успеваем заснуть, как оживление и говор под окнами заставляют нас выскочить на двор.

Оказывается, прибыла масса раненых. Большинство пробирается дальше в тыл, но некоторые, в конце измученные, остаются здесь.

Уступаем свою халупу трем офицерам одного из полков 8 корпуса, дерущегося справа от нас. Все трое ранены в руки. Несмотря на мучительную боль, засыпают мертвым сном.

Устраиваемся в каком-то сараишке. Тесно. Наши «Дементы» и «Гинтеры» придвинуты чуть не вплотную друг к другу.

Среди ночи опять какое-то движение.

Что такое?

Первую роту посылают в Миколаев рвать мосты и укрепления. Австрийцы насаждают тучей. Наши чуть держатся.

Ой, Ой, Ой... Что-то будет...

Вот когда начинается настоящая война...

Уходит также наша прожекторная рота. Командир корпуса посылает ее к дивизиям на ночную работу.

Как интересен, но, вместе с тем, как страшен завтрашний день...

## V

На следующее утро канонада будит нас еще раньше вчерашнего, начинаясь еще по темному. С каждой минутой она усиливается и к полудню в наших Попелянах уже дребезжат оконные стекла.

Район боя приближается.

Настроение повышается. Все делается серьезнее, озабоченнее.

Начавшие прибывать с самого утра новые партии раненых и пленных уже не задерживаются в Попелянах все чаще и чаще мелькают смуглые, черноволосые физиономии мадьяр. Вчера их было совсем мало. Смотрят мадьяры еще сумрачнее австрийцев. Почти у каждого злой огонек в глазах. Мадьяры - лучшее австрийское войско. Их гонведные полки не знают страха, дерутся как львы и очень редко сдаются в плен.

Среди дня получаю приказание ехать за хлебом в Бродки, где расположилось корпусное интендантство.

Настроение в Бродках неважное. С тревогой ждут исхода завязавшихся боев.

Хлеба получить не удастся. Хлебопекарни где-то далеко позади и корпусный интендант даже беспокоится за их участь в связи с непрочным положением Миколаева. Заезжаю за почтой и отправляюсь назад в Попеляны. Дорогой глотаю Киевские газеты от средних чисел августа.

Читаю и глазам не верю...

Наша неудача в Восточной Пруссии...  
Гибель Самсоновской армии...  
Бельгия разгромлена и стерта с лица земли...  
Французы отступают к Парижу, французские крепости Лонгви и Мобеж пали...

Париж эвакуируется...  
Французское правительство переезжает в Бордо...  
Одним словом, целый ворох неприятных вестей... Не того мы все ожидали, отправляясь на войну и радуясь, что с каждым днем множатся враги Германии...

Сразу вспоминаются надежды вернуться домой к Рождеству... Что-то не тем пахнет...

В Попелянах застал суматоху, складываются, запрягают обоз. Получено приказание, быть готовым к выступлению каждую минуту. Австрийцы наседают подавляющими силами, несмотря на губительный огонь нашей артиллерии и отчаянные контратаки пехоты, жмут нас шаг за шагом. Наши линии совсем недалеко от Попелян.

Все с жадностью набрасываются на привезенные мною газеты. Не скажу, чтобы они способствовали поднятию духа... Публика еще более приуныла. Ведь это были первые газеты с тех пор, как мы перешли границу. За эти дни, недели мы были отрезаны от всего мира и то, что привелось узнать сегодня, было слишком грустно и, главное, обрушилось на нас все сразу, без всякой подготовки.

Узнаю, что без меня возвратилась часть нашей прожекторной роты, отправившейся с вечера в 49 дивизию, на правый фланг расположения корпуса. Работать им так и не пришлось; командир роты встретил там совсем неласковый прием: «Вы с ума сошли!... Какие там прожектора?... Бой идет третьи сутки, люди измотались... Сейчас, слава Богу, спокойно, и наши, и австрийцы спят. Вы примитесь светить, австрийцы поднимут тревогу, откроют стрельбу, наши начнут отвечать и весь отдых пойдет прахом... Возвращайтесь откуда пришли... Вы нам не нужны...»

О другой полуроте, посланной на левый фланг в 48 дивизию, сведений пока нет. Известно лишь, что натиск австрийцев там особенно силен.

К вечеру приходит приказание выступить, и с последними лучами солнца мы покидаем Попеляны, которые через несколько часов уже стали ареной жесточайших схваток. Какими-то проселками двигаемся опять к Львовскому шоссе и выходим на него в нескольких верстах севернее Бродок.

Сзади нас по горизонту три громадных зарева – то пылают села в район сегодняшних боев. Завтра, вероятно, дойдет очередь до Попелян и соседних с ним Добржан.

На шоссе такой же шум и грохот, как и днем. Вереницы обозов тянутся бесконечной лентой, направляясь во Львов.

Справляемся о судьбе Николаева. «Пока еще держится, но туго... Австрийцы, как из мешка сыпят...»

Проходим по шоссе верст десять и останавливаемся на просторной поляне редкого перелеска у небольшого поселка Липники. В темноте расставляем палатки и располагаемся на ночлег с тревогой за завтрашний день.

В глубине поляны белеют крылья двух наших аэропланов, залетевших сюда еще засветло. Вокруг них копошатся летчики, перебирая моторы при свете тусклых фонарей. Мы предлагаем услуги одного из наших прожекторов, и через

десять минут раздается характерный шум двигателя и ночную темноту прорезывает ослепительно яркий луч.

Его направляют вниз, на разостланное на земле полотнище палатки с разложенными на нем частями «Гномов».

Работа летчиков сразу идет быстрее, и они горячо благодарят нас за неожиданную помощь.

Их «Ньюпоры» стары, моторы изношены. Летчики ворчат на свою судьбу:

«Такие аппараты немцы давно бы выбросили... А у нас беречь приходится... На лучшее пока и рассчитывать нечего. Каждый вечер вот так возимся».

С раннего утра командир батальона уезжает в штаб корпуса, не оставив нам никаких распоряжений.

Канонада совсем близко.

Из-за переулка явственно доносится треск пулеметов, и методически бухают пушки. Говорят, что совсем не далеко стоит гаубичная батарея. Это она и выпускает очередь за очередью.

Наши лошади запряжены, и мы готовы двигаться немедленно.

Шоссе запряжено по-прежнему. Сейчас по нему тянется кубанская казачья дивизия со своей артиллерией. По словам казаков, их перекидывают из-под Галича к селу Навария верстах в пяти от Львова.

Львов и отсюда недалеко, всего в 10-12 верстах. Неужели так и не удастся посмотреть хоть одним глазом на столицу Галиции?...

Уже больше часа стоим и ждем распоряжений.

Неизвестность томит и нервирует.

За лесом все так же та-такают пулеметы и так же методически выпускают свои очереди гаубицы.

Немолчный рев орудий несется также и справа, и слева.

Казачьи все идут и идут.

Кажется, конца им не будет.

Смотрю на их нахмуренные запыленные лица, и в голове копошится неотвязная мысль: «Сколько вас ляжет на Галицийских полях через несколько часов?... Зачем?... Для чего?...

Наконец после общего стояния решаем двинуться по направлению к Бродкам.

Нет ничего хуже стояния на месте, изводящего всех и каждого.

Выходим из перелеска и медленно ползем к югу.

Сразу чувствуется «большой день»

Вдоль всего шоссе сидят раненные. Они только что прибрели из самой гущи боя, идущего справа за лесом, в лощине.

Стараемся узнать о положении дел.

Ответ один.

«Плохо... Очаковский полк весь разбит... В ротах по 20 человек осталось...»

«Оровайский полк знамя потерял<sup>1</sup>... Совсем беда... Побито – страсть сколько...»

Через сотню сажен новые вести:

---

<sup>1</sup> Это оказалось неверным (прим. авт.)

«48 дивизия растрепана... В 48 артиллерийской бригаде потеряли 22 орудия – не успели вывезти... Перебиты все лошади...»

Немного спустя встречаем вторую полуроту наших прожекторов, бывшую в 48 дивизии у генерала Корнилова (бывшего Верховного Главнокомандующего). Засыпаем вопросами офицеров.

«Плохо. Положение критическое... Бой идет в Попелянах... Вчера Корнилов лично, верхом на лошади повел в атаку свои полки... Лошадь под ним убили, но сам цел. Тут же отличился поручик Анисимов (наш сапер). Собрал отступавших солдат разных полков и бросился с ними в штыки... Говорят Георгий обеспечен...»

Постепенно у шоссе собираются кучки не раненых солдат, только что вышедших из боя. Вид измученный. В поту. Запылены. Откуда-то появляются офицеры, выстраивают их и быстро уводят вправо, в эту страшную сторону, откуда несется немолчный грохот сотен стальных глоток.

Около полудня из уст в уста передаются совсем нехорошие вести, к счастью оказавшиеся неверными, но тогда еще более понизившие настроение. Какой-то проскакавший адъютант клялся, что только что получены сведения о взятии австрийцами Галича и Миколаева. Приуныли окончательно, и только пронзительный вой автомобильной сирены, раздавшийся над ухом, вывел нас из горестного раздумья. Это был громадный рыжий автомобиль, примчавшийся со стороны Львова.

«Господа, как пробраться в штаб 24 корпуса?» – спрашивает высокий казачий полковник с офицерским Георгием и, еле успев выслушать ответ, добавляет, видимо заметив наши вытянутые физиономии:

«Хорошие вести, господа... Только что получена телеграмма – пятая армия на голову разбила австрийцев у Городка, у третьей армии развязываются руки и она спешит вам, восьмой армии, на помощь. Дела идут на поправку... Не горюйте...»

Не успели мы поблагодарить полковника за добрые известия, как рыжий автомобиль свернул с шоссе и исчез в клубах пыли...

Ну, слава Богу... Сразу посветлело на душе... Сразу улыбнулся погожий августовский день, которого мы до сих пор как-то не замечали.

Но тут же ползет тревожная мысль, только бы не запоздала эта помощь... Когда то она еще придет, здесь же чуть держатся... Еще немного, австрийцы прорвутся на шоссе и получится невообразимая каша.

Вот опять какой-то автомобиль.

Два штабных офицера с измученными, утомленными лицами. В руках одного записка, в которую он время от времени заглядывает.

«Где здесь части 24 саперного батальона?»

«Что угодно?»

«По распоряжению командира корпуса немедленно отходите на восток к высоте 203 и далее к деревне Старосело, где и ждите дальнейших приказаний. Только имейте в виду, господа», – добавляет офицер после секундной паузы, – «что это распоряжение запоздало на двенадцать часов...». Офицер поднял руку к козырьку, опять заглянул в свою записку, и через минуту и этот автомобиль уже был далеко.

Наше положение выяснилось, но от этого не легче. Справившись по карте, сворачиваем с шоссе влево на узкий проселок и с тяжелым чувством двигаемся по нему в указанном направлении. И хотя казачий полковник посеял

в нас луч надежды, но все же тревога за судьбу родного корпуса остается на душе.

Последняя фраза штабного офицера, а главным образом интонация, с которой она была произнесена, показали нам достаточно ясно, что положение достаточно серьезно.

## VI

Небольшая деревня Старосело. Вот уже два дня, как мы живем здесь, разместившись в конторе имения графа Потоцкого. Графский фольварк где-то неподалеку, в деревне же возвышаются лишь монументальные стены какого-то грандиозного завода, закрытого видимо много лет назад.

И контора, и квартира управляющего при ней основательно потрепаны, но все же здесь нет картин того разгрома, который нам попадался на каждом шагу до сих пор. Во всей усадьбе, конечно, никого нет – все «утекли» (местное выражение) и, надо сказать, совершенно напрасно, хотя психология их вполне понятна. Напрасно же потому, что те немногие, кто рискнули остаться, за небольшими исключениями сохранили весь свой скарб, всю обстановку. Грабились исключительно пустые, брошенные квартиры и перед каждым городком нам попадались целые толпы крестьян из окрестных деревень, спешивших с мешками в руках поживиться в покинутых гнездах.

Еще в первый день нашего прихода сюда была установлена связь с корпусом, и теперь мы уже знаем, что сведения, привезенные казачьим полковником, оправдались даже скорее, чем этого можно было ожидать. Уже к вечеру того дня, как мы пошли в Старосело, австрийцы внезапно прекратили, несомненно, выигранный ими бой и буквально куда-то исчезли, отступив с невероятной быстротой.

Это странное обстоятельство до того поразило наши измотанные, чуть державшиеся полки, что они первое время даже потеряли с австрийцами связь и несколько дней не могли ее установить. Было лишь известно, что австрийцы отступили к Карпатам, что ими уже очищен Самбор, и что наши части уже подходят к Дрогобычу.

С часу на час мы ожидали приказа выступить.

Пользуюсь свободным днем и стараюсь выяснить среди оставшихся жителей – галичан их экономический быт, их взаимоотношения с местными помещиками. Еще с самого начала нашего похода по Галиции меня поражали, с одной стороны, не имеющие ничего подобного в наших краях, роскошные помещичьи фольварки с обширными надворными постройками, ригами, поместительными амбарами, видимо, обслуживающими громадные, многоземельные имения, а с другой – убогие, буквально пол десятинные<sup>1</sup> полоски крестьянской земли, заморенный, жалкий вид русин, их подобострастная манера держаться, неизменное целованье руки у «пана»; все это без слов говорило о тяжелой доле галицийского крестьянина.

И то, что привелось мне узнать, оказалось действительно ужасным. Я услышал, что местные «паны» редко ведут хозяйство самостоятельно; в большинстве случаев имение сдается арендатору, последний его пересдает другому и лишь из третьих, а иной раз и из четвертых рук, земля попадает крестьянину, прокормиться которому на одной собственной земле, конечно, нет никакой возможности.

---

<sup>1</sup> Пол десятины это больше половины гектара, почти 55 соток. (прим. Ю.Л.)

Все эти арендаторы, эти пауки, присосавшиеся к земле, и через нее к галичанину, выколачивают из последнего все, что можно. Достаточно сказать, что галицийские крестьяне обрабатывают панскую землю, попавшую к ним из цепких арендаторских рук, *из десятого, а то и из двенадцатого снопа...* Это вместо нашего «исполу»...

«По сколько же у вас своей земли?» – спрашивал стоявших передо мной галичан, этих бритых, длинноусых людей в широкополых шляпах, холщовых шароварах и коротких, домотканого сукна куртках.

«Ой пане, так какая ж это земля», – следовал ответ, – «у кого два морга, у кого три... Бывает и по четыре, а у кого есть и по пять моргов», – добавляли они после минутной паузы.

Два, три, в лучшем случае четыре или пять моргов, думал я с ужасом, припоминая, что морг – чуть больше нашей пол десятины.<sup>1</sup>

И сразу стало мне понятно, почему в Галиции мы повстречали так много разбитых, дочиста разграбленных, фольварков, в которых не было пощажено буквально ничего, до изразцовых печей включительно, сразу объяснилось повальное бегство «панов» оставленных местной полицией лицом к лицу с измученным, голодным крестьянством...

.....

Вот и пришло всеми нами ожидаемое распоряжение выступить и двигаться в городок Комарно, более чем за 40 верст отсюда в западном направлении. Имеются сведения, что наши войска уже подходят к Карпатам, а казачья дивизия генерала Павлова, оперирующая при нашем корпусе, уже прорвалась в Венгерскую долину. Точных известий обо всем этом не имеем, питаемся лишь слухами от встречных.

Теперь я уже еду не верхом, а на кабриолете, или, как мы говорим, «драндулете», забранном нашими офицерами еще в начале похода на одном из разграбленных фольварков. Правда это было тоже маленькое мародерство, но наш расчет был прост: не возьмем мы, через час возьмут другие... Все равно не уцелеет.

Временно бросить верховой способ передвижения меня заставило одно досадное обстоятельство, случившееся со мною еще по пути в Старосело. На всем скаку мой конь спотыкнулся и со всех четырех ног полетел на землю, увлекая, конечно, и меня и в результате – вывихнутая в плече правая рука.

Едем знакомыми местами. Вот Львовское шоссе, теперь пустынное. Вот Добржаны, Попеляны. Какие печальные картины... Сожженные дома, на улицах воронки от снарядов, а тот лесок, который примыкает к Попелянам, наполнен и нашими и австрийскими трупами. И сейчас русины их вывозят оттуда на своих длинных фурах и зарывают неподалеку в поле в громадных братских могилах.

И Добржаны, и Попеляны, и соседний Дорнфельд совершенно пусты. К моменту боя все жители попрятались в глубину ближайших лесов и еще не

---

<sup>1</sup> Напомним, что по данным 1902 года в Галиции насчитывалось всего 1.008.840 земельных собственников, из которых менее, чем по 1 гектару (гектар=0,91 десятины, т.е. немного меньше ее) имело 193.238 собственников, или 19%; от 1 до 5 гектаров было у 609.837 собственников или у 60,6% и, наконец имения свыше, чем по 1000 гектаров имели 475 чел. или 0,04%; однако, эти четыре сотых процента имели в своем владении 37% или более трети всего пространства Галиции, причем 21 магнату принадлежало 8,5% всей страны. Совершенно безземельных крестьян к 1902 году в Галиции было 1.200.000 чел. или 15% всего населения (*прим. авт.*)

успели возвратиться за исключением тех немногих, которые теперь заняты похоронами убитых.

Погода начинает портиться. Низкие серые тучи торопливо плывут по свинцовому небу. Иногда накрапывает дождь. В предвидении ненастья вытаскиваем свои непромокаи, купленные еще в Самарских и Казанских магазинах; солдаты завертываются в полотнища палаток, а наиболее хозяйственные облачаются в заправские макинтоши, пошитые из австрийских палаток, во множестве набранных вокруг Галича.

Вот Верещица, из-за которой два дня назад кипели жестокие бои, вот злополучный Гуменец, пылавший на моих глазах. В нем нет буквально ни одного целого дома и тонкие, стройные пирамидальные тополи с полу обгорелыми ветвями печально смотрят на еще дымящееся кое-где пепелище.

Среди дня окончательно размокропогодилось. Густая сетка мелкого дождя закрыла даль, и мы уже теперь не видим Карпат, синевших перед нами на горизонте ранним утром. А со второй половины дня горизонт сузился настолько, что мы с трудом можем рассмотреть голову колонны нашего обоза, растянувшегося на добрых две версты. Дорога пока еще терпит, но вероятно уже завтра станет трудно проходимой.

Невдалеке справа вьется железнодорожный путь, теперь пустынный, мертвый. Уже сколько раз мы пересекали железнодорожные линии, но до сих пор не видали ни одного вагона и не слышали ни одного паровозного свистка – австрийцы старательно эвакуировали весь подвижной состав, только, говорят, во Львове было захвачено несколько поездов, да в Станиславове нам досталось чуть не дюжина новеньких, с иголки паровозов. Как только поправят мост через Днестр, так и появятся они на Галицийской железнодорожной сети.

К вечеру добираемся до Комарно, этого небольшого городка, который даже на хороших картах Галиции Львовского издания обозначен мелким шрифтом. Что он из себя представляет – пока не знаем, ибо останавливаемся на окраине, расположив обоз на какой-то сыроватой низине. Для собственного жилья облюбовали небольшой особнячок, по обыкновению пустой. Обстановка особняка почти вся цела и как-то непривычно видеть целой и лампу с причудливым абажуром и альбом с открытками...

## VII

В Комарно мы прожили целую неделю. В это время наша пехота закреплялась в Карпатских перевалах, кавалерийские корпуса генералов Павлова и Каледина хозяйничали в Венгрии, а наши саперы в предвидении будущего строили предмостные укрепления на речках Верещице и Щержеце. Не знаю, воспользовались ли мы ими при знаменитом «великом отходе» из Галиции летом 1915 года.

Погода пакостная. Ненастье, кажется, намеревается вознаградить себя за долгое воздержание. Мелкий, назойливый дождь не перестает ни днем, ни ночью, превращая плохо вымощенные улицы Комарно в сплошные реки жидкой грязи.

Ходят зловещие слухи о развивающейся в войсках холере, говорят о нескольких сотнях ежедневных заболеваний в одной только нашей армии. Со всей силой нашего убеждения внушаем солдатам воздержание от всякого «сыроядства», но в то же время чувствуем, что добрые семена нашего красноречия падают на каменистую почву... Особенно велик соблазн

представляет из себя свекловица, которой в Галиции засеяны целые поля, а некоторые любители не брезгают, как это ни странно, даже сырой картошкой.

Благо бы мы голодали, но этого абсолютно нет. Каждый день, в определенный час солдаты получают сытный мясной обед, хлеба также довольно и теперь мы лишь вспоминаем, как неприятное прошлое, первую неделю похода, когда хлебопекарни не могли поспеть за корпусом, и приходилось пробавляться вареными кукурузой, да картошкой.

Дня через четыре после перехода в Комарно узнаем, что двое наших солдат попались в мародерстве. Их поймали на площади с узлами, в которых оказалось награбленное серебро и кое-какая одежда. Тогда на этот счет было строго, и злополучникам грозили розги – обычное в то время первое наказание за грабеж, установленное высшим начальством.

Через полчаса после известия об этом печальном происшествии меня зовут на улицу.

Что такое?

Сейчас будет порка...

Ой, нельзя ли уклониться от созерцания этой отвратительной картины?...

Нет, офицеры обязаны присутствовать все.

С тяжелым чувством облекаюсь в свои походные ремни и выхожу на площадку, где стоит обоз. Там большим четырехугольником уже выстроены солдаты. В середине лежат свеженарезанные прутья и стоят два «эзекутора». Ждем провинившихся. Их сейчас приведут из управления этапного коменданта, куда они были отведены после задержания. Около розог с решительным, суровым лицом ходит начальник хозяйственной части, высокий, красивый полковник с длинной, окладистой бородой. Обычно добродушный, мягкий, он видимо старается скрыть свое волнение.

Вот и «мародеры». Вид сконфуженный, убитый, физиономии красные... Один из них намеревается что-то сказать полковнику.

«Молчать, негодяй!»... - вспыхивает начальник хозяйственной части и раздражается громовой речью на тему о позоре мародерства, о чистоте военного мундира, об обязанностях солдата и т.д. и т.д. И в заключение отрывисто бросает:

«Раздевайтесь!...»

«Ваше высокбродие...» - опять пытается раскрыть рот один из обреченных.

«Молчать!... Никаких оправданий!... Раздеваться сию минуту!...»

«Ваше высокбродие, да нас уже выпороли...» – выпаливает все-таки солдат, чувствуя, что критический момент приближается и что через пол минуты, может быть, будет уже поздно.

??? !!!

«Как выпороли?!.. Где?...»

«Да у этапного коменданта... По двадцать пять уже дали...»

Общее изумление...

Полковник, видимо, раздосадован, что все его красноречие пропало даром, но ничего не поделаешь, – с одного вола семь шкур не дерут. В глубине души, вероятно, и он доволен, что обошлось без эзекуции. Мы все не можем удержаться от улыбки и с облегченным вздохом расходимся кто куда.

Страшная грозища мешает пешеходной экскурсии для осмотра Комарно, а вывихнутая рука еще не позволяет сесть на лошадь. Но, кажется, он не является исключением, – так же брошен, так же разграблен. Скоро мы покинем

его, – саперные работы на Верещице и Щержеце приближаются к концу, и нам придется форсированными маршами спешить на соединение с нашей пехотой и помочь ей закрепиться на перевалах.

Отсюда пойдём в Новый Самбор, а затем в Старый Самбор (Старо Место), расположенный у самой подошвы Карпат. Дальнейшее будущее темно и неизвестно и на счет его ходят самые разноречивые слухи.

От лиц осведомленных узнаем некоторые подробности боев перед Львовским шоссе неделю назад. Между прочим, оказывается, что в тот день, а быть может даже и час, когда нам было передано приказание, отходить в Старосело, наше положение буквально висело на волоске. И по донесениям из частей и по собственным наблюдениям в штабе корпуса все прекрасно знали о страшном последнем напряжении дравшихся войск. Положение без преувеличений было таково, что еще небольшое усилие со стороны австрийцев, еще небольшой натиск на нашу измученную, уже ослабевшую пехоту и все побегут в полной панике, и не будет сил для того, чтобы остановить ее...

И, по-видимому, в этот самый момент австрийцы получают известие о наших успехах у Городка, об опасности быть окруженными с севера, что и заставляет их бросить в бой и, спасая общее положение, быстро отойти на запад.

Но сколько еще таких тяжелых минут предстояло нашему корпусу и даже в самом близком будущем...

## VIII

Карпаты все ближе и ближе. С каждым часом они вырастают перед нашими глазами, обозначаясь на доброй четверти горизонта длинной темной цепью.

Идем на Новый Самбор, оставив Львов уже за своей спиной. По-видимому, нам так и не суждено попасть в него. Все об этом жалеют, особенно после того как там побывал наш ветеринар, ездивший туда из Комарно за разными покупками. Привез он нам из Львова разной мелочи – открыток, мундштуков, папирос, но конечно больше всего рассказов, которые и заставляют нас досадовать, что теперь мы уже отдаляемся от столицы Галиции.

Не привез он нам только газет, которые, после того, что мы узнали о мировых событиях в Попелянах, стали для нас вдвойне интереснее. Вообще, почтой мы не совсем довольны. Только к концу нашего пребывания в Комарно, т. е. После трехнедельного странствования по Галиции мы впервые получили письма, да и то отправленные в первые дни после нашего отъезда из Самары. Говорят, что вся почта, адресуемая в армию, собирается в Смоленске, в центральной полевой конторе, а оттуда уже направляется на соответствующий фронт. Но нам от этого не легче – тяжело быть так подолгу оторванным от всего близкого, дорогого.

По дороге в Самбор застреваем на полтора суток в отвратительном, грязном местечке Рудках, таком же ободранном и покинутом, как и разные Бурштыны, Ходоровы, Миколаевы, которые теперь уже остались позади нас.

Впрочем, в Рудках много еврейской бедноты с невероятным количеством худых и грязных ребят. Видимо не успели, вернее, не имели возможности «эвакуироваться».

Теперь мы все чаще и чаще встречаем местные фуры, до верха наполненные разным тряпьем, подушками, узлами и, самое меньшее, дюжиной еврейских «беженцев» от седых до желтизны длиннобородых стариков до

грудных ребят включительно; это возвращаются на свои места ушедшие перед нашим приближением и наконец отчаявшиеся в том, что австрийцы нас скоро выгонят. В свое время они уткнулись с насиженных мест вместе со своими «ландверами», «ландштурмами», «гонведами», но теперь отстали от них и потянулись назад.

Наши солдаты лишь головами качают, глядя, как малорослые миниатюрные галицийские лошадки, видимо, без особых усилий тянут эти фуры с тремя, а иной раз и с четырьмя еврейскими поколениями.

На шоссе, соединяющем Рудки с Самбором такая же каша, как и полторы недели назад на Львовском шоссе. Скопились обозы и нашего и 8 корпуса, которые работают бок о бок с самого дня вступления в Галицию.

Дорога чрезвычайно тяжелая, неприятная. Почти десятидневные дожди превратили когда-то чудное галицийское шоссе в сплошную реку жидкой грязи буквально по ступицу и по колени глубиной, и мы чуть не плывем. Солдаты заткнули полы шинелей за пояса и идут по краям дороги, выбирая, где посуше.

Вдруг давно знакомый, тонкий свисток паровоза доносится к нам откуда-то справа. Мы все оборачиваемся на этот уже полузабытый, но от этого вдвойне приятный, звук и видим, как из небольшого леска в полуверсте от нас показывается белое облачко пара и вслед за ним весело выбегает паровоз с двумя красными, значит нашими русскими товарными вагонами. Как-то сразу стало весело на душе, сразу почувствовалась связь с Россией, сразу ожил раскинувшийся вокруг нас мертвый пейзаж прикарпатской низменности с вьющейся по ней, тоже до сих пор мертвой, железнодорожной линией. И солдаты, и офицеры любовно следят за паровозом, пока он не скрывается за следующим леском.

Шестой час вечера.

Начальство отдает приказ остановиться на обед.

Обоз сворачивает к самому краю шоссе, чтобы не мешать движению, и солдаты, отстегивая на ходу котелки, бегут к походным кухням.

Мой возница, приземистый краснолицый солдат Юдин (из-за своей вывихнутой руки я все еще избегаю верховой езды и на этот раз восседаю на санитарной двуколке) спрыгивает с козел и лезет куда-то под двуколку.

«Куда ты?»

«Да вот котелок у меня здесь промеж колес привязан», - отвечает Юдин, вытаскивая из-под двуколки котелок, доверху наполненный той же жидкой дорожной грязью.

Я слежу за тем, что будет дальше.

Юдин вытряхивает, вернее, выливает грязь, вытирает пальцами ее остатки, споласкивает котелок какой-то ржавой водицей из стоявшего у нас под ногами бочонка, отправляется за супом и через пять минут мы с аппетитом уплетаем за обе щеки до нельзя переболтавшуюся «крошенку», где и мясо, и картошка, и лук, и крупа превратились в одну сплошную жидкую кашу. Однако, несмотря на это, несмотря на столь, казалось бы, неаппетитное приготовление к обеду, котелок быстро пустеет, и Юдин бежит за добавкой.

«A la guerre comme a la guerre», - думаю я, провожая его глазами...

Двигаемся дальше.

С каждой верстой дорога становится все тяжелее и тяжелее.

По-видимому, ее умышленно испортили отступавшие австрийцы. Неимоверные выбоины и рытвины заставляют нашу двуколку мотаться из стороны в сторону, то низвергаться в какую-то бездну, то выбираться из нее.

Здоровой рукой я, что есть силы, вцепляюсь, то в край своего сиденья, то в Юдина и, с каждым новым толчком, все больше и больше удивляюсь крепости казенных колес.

Темнеет.

На дамбу, по которой тянется шоссе, ползет сырость с болот, расстилающихся по обеим ее сторонам. И мутноватые облака тумана, и быстро надвигающиеся сумерки прячут от нас один за другими и раскинутые там и сям стога сена и редкие купы кустов.

Сидеть на козлах непрерывно подпрыгивающей и качающейся из стороны в сторону двуколки гораздо утомительнее путешествия верхом. Последнее время я даже ухитрялся дремать в седле, тут же надо все время следить, как бы не вылететь под колеса.

Но все же утомление берет верх – уже тринадцать часов, лишь с одним получасовым перерывом на обед мы ползем по этому проклятому шоссе.

Я стараюсь покрепче устроиться, упираюсь ногами в тот самый бочонок, содержимым которого Юдин ополаскивал котелок, судорожно вцепляюсь в края сиденья и впадаю в какое-то полузабытье. В моих ушах еще некоторое время стоит хлюпанье по грязи лошадиных копыт, стук колес и фыркание лошадей, но скоро исчезает и это.

Иногда сильный толчок выводит меня из дремоты, я подаюсь всем корпусом вперед и с трудом удерживаюсь, чтобы не слететь под ноги лошади. Это где-то впереди образовался «затор», обоз остановился, и мы стоим 10-15 минут, а то и целых полчаса.

Время от времени откуда-то с хвоста обоза несется протяжный крик «держи вправа-а-а...» Он передается вперед от повозки к повозке и, вслед за ним, раздается фыркание автомобиля, сопровождаемое противным воем сирены или солидным басовитым гудком. Дорожная грязь начинает все сильнее освещаться автомобильными фонарями, вот на мгновение вынырнули из темноты и ярко освещенные фигуры солдат, шагающих сбоку и впереди идущие повозки, лошади тревожно прядут ушами и боязливо жмутся к краю дороги. Шипящий и фыркающий автомобиль шумно пронесется мимо нас, разбрасывая вокруг жидкую грязь и, оставляя за собой характерный запах бензиновой гари, которая долго стоит в сыром воздухе.

Секунда – и опять все тонет в кромешной тьме – теперь, после минутного света она кажется еще гуще, еще непроглядней.

## IX

Уже скоро десять часов.

Впереди виден како-то отблеск, как будто горит много больших электрических фонарей. К моей двуколке подъезжает один из офицеров, и мы начинаем гадать, что это такое.

Может быть Самбор?

Какой Самбор!... Откуда там фонари? Откуда электричество?... Вероятно такая же разбитая и разграбленная дыра, какие мы видели и раньше.

Что же тогда такое?

А вот подождем минут двадцать. Может быть тогда и объяснится.

Проходит еще полчаса.

Несомненно, это Самборские фонари. Да и, судя по времени, нам пора быть там.

Еще пятнадцать минут и начинают попадаться пригородные постройки, мы переходим через хороший железный мост, перекинутый через Днестр и через несколько десятков сажен наши колеса уже стучат по городским улицам, мимо трех и четырехэтажных домов.

У входа в город нас встречает один из наших офицеров, посланный сюда вперед в качестве квартирьера и дает указания, где расположиться обозу.

«А для офицеров отведена гостиница «Империял», - объявляет он, загадочно улыбаясь.

Гостиница?... Это любопытно...

Направляемся туда. Большое трехэтажное здание, залитое электрическим светом. Полковнику отведен лучший номер, правда, из двух комнат, вероятно, были бы для нас самым заурядным явлением. Но теперь, после почти месячного трепания по Галицийским дорогам, после ночлегов и в палатках, и под подводами, и в амбарах и в разбитых халупах, после картин самого ужасного разгрома – все это кажется нам прямо-таки царскими хоромами.

Мы с любопытством рассматриваем, даже ощущаем и мягкую мебель, и хорошие кровати с стегаными «заграничными» одеялами в чистых чехлах и зеркала.

Доходит очередь до выключателей электрических лампочек. Мы их вертим, лампочки тухнут и вспыхивают, а мы смотрим друг на друга и от души хохочем... Нам весело и оттого, что мы так неожиданно очутились в культурной обстановке, от которой уже успели отвыкнуть и оттого, что мы теперь так похожи на детей...

Полковник нажимает пуговку электрического звонка. Через минуту является коридорный и ломаным русским языком (он поляк) объявляет, что мы можем получить ужин.

«Конечно... Скорее...» – торопим мы пана официанта и опять весело переглядываемся.

Правда, ужин далеко не из первосортных – какой-то красный рисовый суп, обильно уснащенный перцем и с твердым, как подошва, мясом и подозрительное жаркое под таким же красным рисовым соусом, еще более пряным. Но это пустяки.

Главное то, что мы сидим в гостинице на мягких креслах, едим заказанный ужин, над нами горит электрическая люстра, и мы разглядываем в большие зеркала свои обросшие, обветренные и загорелые физиономии... Как все это необычайно, а главное неожиданно...

Ложимся спать. Кажется, в первый раз после вагона разоблачаюсь, как следует. Как приятно вытянуться на мягкой кровати после моего походного «Демента» от которого у меня уже давно болят бока.

За стеной в соседнем номере слышится голос нашего офицера, поручика Р., прерываемый женским смехом.

Припоминаю, что в коридоре нам встретились какие-то женские фигуры в коротеньких юбках и откровенных кофточках. Однако скоро Р. свел знакомство...

Наутро, наскоро напившись чаю, спешим взглянуть на Самбор.

Приличный городок. До войны в нем было, тысяч двадцать пять жителей, теперь, конечно, меньше, но на улицах все желюдно, а на окаймленной бульваром центральной площади, по местному, «рынке», даже настоящая толкотня. Посреди площади большая трехэтажная ратуша с высокой

восьмиугольной башней. Почти все магазины открыты и полны покупателей, как своих, так и наших. Много «кавярен» (кофеен), битком набитых офицерами.

По улицам идут какие-то наши обозы, громыхая по каменной мостовой, мчатся артиллерийские парки.

Идем по узким Самборским улицам, застроенным двух и трехэтажными домами, большей частью новейшей, модернизированной архитектуры. Впрочем, между таких домов, которые сделали бы честь любой Казанской улице, довольно часто встречаются маленькие, жалкие хибарки и это указывает на то, что обстраиваться Самбор стал сравнительно недавно.

Вот еще площадь, но значительно меньше «рынка». Посредине небольшой, но изящный памятник Костюшке, этому польскому национальному герою, статую которого мы потом встречали почти в каждом Галицийском городке Самборского масштаба.

Это, по-видимому, лучшая часть города.

Дома здесь изящнее, чем на других улицах, все больше особнячки с чистенькими, холеными садиками за красивыми железными решетками.

Разыскиваю район, где разместились наши саперы. По-видимому, они, так же как и мы, приятно удивлены Самбором, но, кажется, уже освоились в новой обстановке.

С нашим вольноопределяющимся захожу в одну из брошенных квартир второго этажа дома, низ которого занят солдатами. Судя по карточке на двери, здесь жил какой-то «адвокат крайевый», утекший за Карпаты, как и большинство Самборской интеллигенции.

Небольшая, но чрезвычайно уютная, милая квартирка, в которой, кажется, еще не похозяйничала ни одна чужая рука. Все на своем месте, до безделушек на туалете включительно, даже на столике между кроватями – раскрытая книга и недопитый стакан воды. Открываю гардероб – полон платьев, на письменном столе – бумаги, письма... Создается полное впечатление, что хозяева этого гнездышка не сидят теперь где-то на Венском вокзале, что они здесь, в Самборе: пан – адвокат в ратуше, или в суде, а молодая, хорошенькая панна (по-видимому ее портрет висит в гостиной) пошла на рынок или к портнихе...

Каждый шаг в этой квартире указывал на внезапное, вероятно даже паническое бегство ее обитателей, не успевших даже собраться, как следует. Наверное, они были «австрофилы», потому что, как потом выяснилось, «русофилы» и поляки, и галичане, почти все остались на своих местах.

Об этом я узнал час спустя в ближайшем магазине, куда зашел купить карту Галиции, вывешенную на витрине. Здесь какой-то не то русин, не то поляк, высокий худощавый брюнет с черными живыми глазами (он оказался инженером) на сравнительно правильном русском языке рассказал мне, как австрийцы перед нашим приходом арестовали массу «русофилов» из среды местной славянской интеллигенции и посадили их в тюрьму, предварительно выпустив из нее всех уголовных.

Рассказчик был в числе их и довольно картинно передал переживания и свои, и своих товарищей по заключению, просидевших под замком около двух суток, пока их не освободил генерал Павлов, первый вступивший в Самбор со своим кавалерийским отрядом.

Однако недолго наслаждались мы пребыванием в Н. Самборе, – только два дня привелось нам пожить в гостинице «Империа́л», ибо вечером 11 сентября уже получен приказ, выступать в С. Самбор. Хорошо еще, что погода побаловала нас: в эти два дня разошлись низкие облака, выглянуло солнце и даже начала подсыхать назойливая галицийская грязь. Но утро 13-го опять началось туманом и мелким осенним дождем.

Вот наш обоз вытянулся по Самборским улицам, извиваясь по ним длинной змеей, вот громыхают тяжелые, неповоротливые повозки с полупонтонами, запряженные четверками лошадей, вот шествуют наши прожекторы, и Самборские жители с удивлением взирают на громадную, выкрашенную в черное вышку 75-сантиметрового прожектора, которую мы прозвали «Эшафотом».

Наш выезд из «Империа́ла» не обошелся без инцидента. Один из денщиков счел за благо забрать с собой номерную отдельную наволочку, но был уличен и похищенное водворили на место.

От Нового Самбора до Старого верст 25 и этот переход обходится нам довольно легко. Дорога, хотя и неважная, но отдохнувшие и подкормившиеся лошади везут исправно, и еще засветло мы подходим к самым Карпатам, у подошвы которых, как бы оберегая вход в Ужокский перевал<sup>1</sup>, приютился Старый Самбор. Это небольшое местечко, не имеющее ничего, кроме имени, общего со своим младшим по возрасту, но значительно его переросшим и развившимся собратом.

Мелкий дождь, моросивший с самого утра, скрывал от нас Карпаты в продолжение целого дня, а низкие облака, закутавшие вершины покрытых лесом гор, не позволяли нам рассмотреть их даже когда мы вступили в С. Самбор.

Шумливый Днестр имел здесь характер настоящей горной речки; журча и пенясь в прибрежных камнях, он быстрым потоком несся из горных теснин Ужокского прохода, и долго еще не мог успокоиться, вырвавшись на простор прикарпатской низменности.

И зачем вытянули нас из симпатичного Н. Самбора, размышляли мы все, шествуя по грязным, отвратительным улицам Самбора Старого, мимо разграбленных, а кое-где и сожженных лавок на неизменной площади, мимо брошенных домов с выбитыми окнами и сорванными с петель дверями.

Нам тогда, конечно, и в голову не приходило, что спустя три года подобный вопрос решился бы очень просто и скоро – к начальству пошла бы мотивированная резолюция, в которой на первом месте было бы выставлено достаточно веско обоснованное требование оставить грязный, разграбленный и на две трети брошенный С. Самбор и возвратиться в Новый, с его приветливым «Империа́лом», галдящим рынком и оживленными магазинами...

Но, к худу ли, к добру ли, но тогда мы еще не смели, да и не умели рассуждать...

Потянулись однообразные скучные дни с постоянными заботами о добывании фуража для наших многочисленных обозных лошадей. До С. Самбора мы не получали от интендантства ни фунта овса, ни клочка сена, добывая и то и другое собственными силами. Правда, все это покупалось у местных жителей за наличный расчет и денег на фураж выходило немало, но, конечно, полной уверенности в том, что все эти деньги попадали в карманы

---

<sup>1</sup> Названного так по имени местечка Ужок, расположенного приблизительно посередине перевала (*прим. авт.*)

несчастливых галичан, у нас не было. Не имея фактической возможности проверять каждую расписку, привозимую фуражирами, рассылавшимися нами во все стороны, приходилось верить им на слово. Все они лишь в один голос говорили, что добывать фураж с каждым разом становится все труднее и труднее, что эти операции всегда сопровождаются нескончаемыми слезами жителей, которые, конечно, не могли нашими пятишнами и трешнами накормить своих лошадей и коровенок; последние, впрочем, также скупались нами для довольствия людей.

«Просто беда, ваше благородие», - жаловались мне фуражиры и артельщики, - «бабы воют, ребятишки режут... А как повели корову со двора, так прямо хоть беги...»

От одних подобных рассказов сжималось сердце, но... ничего нельзя было поделать... Война...

До сих пор войска уходили вперед так быстро, что интендантство со своими складами и запасами не могло поспеть за ними, тем более, что не всегда можно было сейчас же воспользоваться местными железными дорогами. Австрийцы, хотя и милостиво, но все же их портили и легонько, как бы остерегаясь, взрывали ж.-д. мосты. Только здесь, в С. Самборе, установилось более или менее правильное ж.-д. движение и на вокзале открылся интендантский продовольственный магазин, где с утра до вечера стояла невероятная толчея и несчастный, узкогрудый и угрюмый чиновник со всех ног метался среди многочисленных приемщиков, съезжавшихся сюда со всего корпуса.

«Как вы тут один справляетесь?» – с удивлением спросил я его.

«А так... Как Бог даст... с самого Гусятина вот эдак вожусь...» – бросил он мне на ходу.

Ну и погодой встретили нас здесь Карпаты... Почти непрерывно моросит мелкий сентябрьский дождь, сопровождаемый сильнейшим ветром, дующим из прохода. Говорили, что такой ветер – здесь постоянное явление. С. Самбор, расположившийся в самом горле горного прохода, был как бы на своеобразном сквозняке.

О ближайшем будущем ходят самые разноречивые слухи. Например, говорили о каком-то приказе по армии, коим войскам предписывалось подтянуться, почиститься и привести себя в порядок, так как де скоро нам предстоит вступить в неприятельские столицы (Вена?, Буда-Пешт?), говорили также, что мы здесь ждем какого-то второочередного корпуса, который должен нас сменить, мы же будем двигаться на германский фронт и, наконец, наша судьба почему-то связывалась с судьбой Перемышля.

Между тем события шли своим чередом и из-за Карпат шли тревожные вести о том, что австрийцы начинают теснить кавалерию генерала Павлова, которая уже успела добраться до г. Унгвара на венгерской равнине, что теперь она отступает с боем к Ужоку.

Приблизительно через неделю, после нашего прихода в С. Самбор, в перевал был спешно двинут наш Очаковский полк, стоявший где-то правее, в стороне Хырова. Говорили, что австрийцы уже подходят к местечку Турка, находящемуся верстах в 40 от С. Самбора.

Почти каждый день мы ходили на небольшой Самборский вокзал встречать поезда, вывозившие из прохода десятки и сотни раненых, набитых в грязные и тесные теплушки. Однажды из Львова пришел настоящий санитарный поезд обще-дворянской организации с заправскими санитарными

вагонами, с деловитыми сестрами в неизменных кожаных куртках и с породистым и представительным уполномоченным, каким-то уездным предводителем, в высоких сапогах и желтой охотничьей куртке.

Через день этот поезд уже возвращался из Турки, переполненный ранеными. Озабоченные сестры с нахмуренными, решительными лицами перебегали из вагона в вагон, носились по вокзалу с какими-то кружками в руках, а породистый предводитель оживленно рассказывал, как им приходилось под огнем погружать раненых и какой опасности подвергался их поезд, лишь благодаря находчивости машиниста остановленный за несколько сажен от разрушенного моста. По-видимому, это было их первое серьезное дело...

Наши саперы торопились окончить укрепление прохода у села Горный Лужок, в 10 верстах от Самбора. Ездившие туда наши офицеры говорили, что там, на почти отвесных скалах, совершенно гарантированных от обхода, нами оборудованы поистине неприступные позиции, оплетенных целой паутиной колючей проволоки.

Увы... Мы и не предполагали, что эти дивные позиции через неделю будут нами оставлены без боя...

Жили мы в Самборе в доме местного мирового судьи, который, несмотря на то, что, по-видимому, был и «австрофилом» и «мазепинцем»<sup>1</sup>, не эвакуировался, а остался на месте со своей старушкой матерью. Он довольно сносно объяснялся по-русски, но от разговоров на политические темы всякий раз осторожно уклонялся, чем собственно и выдавал свое «австрофильство».

Зашел я однажды в Самборский костел. Несмотря на праздничный день, он был наполнен лишь наполовину. С тяжелым чувством смотрел я на молящихся, подавляющее большинство которых было женщины. Сколько веры, сколько трепетной мольбы было на их изнуренных лицах, носящих явные следы безысходной тревоги и за своих отцов, мужей, братьев и сыновей, дерущихся кто в Перемышле, кто на Карпатских высотах, а кто и в Сербии, на берегах Саввы, и за своих ребят, оставшихся с ними здесь, для которых каждый завтрашний день был страшной и темной загадкой. С каким вниманием вслушивались они в непонятные для меня тягучие возгласы бритого, полного ксендза, как напряженно следили они за каждым словом его проповеди.

«Проклятая война», - думал я, выходя из костела, - «во имя каких идеалов может переполняться до краев чаша людского горя...»

И долго после этого стояли в моих глазах скорбные, коленопреклоненные фигуры Самборских женщин с молитвенниками в руках.

.....

Каждый день мы слышим отдаленную пушечную пальбу, глухой рокот, который доносится к нам откуда-то с севера. Это гремит и наша и австрийская артиллерия под Перемышлем, обложенным нами после отступления австрийцев, которым закончилась в конце августа известная «Великая Галицийская битва».

Под большим секретом мы узнали, что 21 сентября должен быть общий штурм его фортов.

Однажды на Самборском вокзале я встретил нашего Казанского врача-гинеколога Р., служившего тогда в дивизионном лазарете 49-й дивизии. Так приятно было увидеть знакомое лицо, напомнившее мне о родных краях.

---

<sup>1</sup> Стронником объединения Украины под владычеством Австрии. (прим. авт.)

Узнал от него курьезную вещь: в Миколаеве австрийцы оставили нам несколько военных складов и артиллерийских и интендантских и санитарных. И вот, разбирая один из последних складов, доктор Р. нашел несколько полных наборов различных гинекологических инструментов, которым, казалось бы, совсем не место, хотя и в санитарном, но все-таки военном складе...

## XI

Уже кончается вторая неделя, как мы стоим в С. Самборе.

Осень с каждым днем все больше и больше входит в свои права. Все также моросит мелкий дождь, все также обдувает нас горный сквозняк. Вершины Карпат все еще скрываются от нас за низко ползущими облаками.

Из перевала идут вести об упорных боях в районе Турки. Еще один полк отправился туда в помощь злополучным Очаковцам, которые еще в августовских боях понесли тяжелые потери.

Вот закружились в воздухе первые снежинки, верные предвестницы скорой зимы... Слава Богу!... Скорее бы... Очень уже надоела эта постоянная сырость, эта невылазная грязь. Пора бы наступить и заморозкам – сентябрь уже подходит к концу.

Однажды утром получаю от командира батальона приказание срочно донести о всех, имеющихся среди моих солдат, подрывниках, т.е. тех, которые обучались обращению с взрывчатыми веществами и знакомы с взрыванием. Начинаем гадать, чтобы это значило, но не успели мы, как следует обсудить это распоряжение и доискаться его причин, как к вечеру этого же дня приходит еще более срочное распоряжение немедленно собраться и идти в Новый Самбор.

Суматоха, спешные сборы...

Наводим справки у адъютанта, в чем дело и под великим секретом узнаем, что назревает глубокий обход, что австрийцы прорвались через какой-то из более южных проходов, кажется, в районе Дрогобыча и теснят нас опять-таки подавляющими силами. Да и в нашем, Ужокском проходе что-то не совсем благополучно. Одним словом, создавалось очень тревожное положение, чреватое самыми нежелательными последствиями.

Поздно ночью приходим в Н. Самбор, останавливаемся в каких-то казармах на окраине и на утро трогаемся дальше на восток, так как командир корпуса решил не загружать нашим громоздким обозом Н. Самбора, в котором должен был обосноваться штаб корпуса, двинувшийся сюда вслед за нами.

Теперь уже я еду квартирьером с нелегкой задачей отыскать пристанище в отвратительных Рудках, которые, увы, назначены нам для стоянки.

Захватываю с собой трех верховых солдат, и трогаюсь в путь по тому же скверному шоссе, представляющему из себя подлинную реку. Правда, на нем теперь нет тех ужасных выбоин, на котором моталась моя санитарная двуколка три недели назад, их заровняла одна из наших саперных рот, остававшихся здесь все это время на дорожных работах, но с грязью она ничего не могла поделаться и теперь наши лошади тонут в ней чуть не по колено.

Шоссе теперь пустынно: до него еще не успела докатиться волна наших отходящих на восток обозов, и лишь трупы несчастных лошадей, которые попадают довольно часто, придают еще более зловещий колорит и без того невеселому пейзажу, расстилавшемуся передо мною.

Вот еще лошадь. Она, по-видимому, еще жива – судорожная дрожь время от времени пробегает по ее мокрому, залитому грязью телу, да изредка подергивается морда, уткнувшаяся в лужу. Один солдат вынимает свой

«Наган», вставляет дуло в ухо несчастного животного, раздается сухой, отрывистый выстрел, бедный конь вздрагивает последний раз и успокаивается навеки.

В Рудках я прихожу в совершенное отчаяние. Грязь, грязь и грязь... И, в довершение всего, чуть не на каждом доме зловещая надпись мелом или известкой: «ХОЛЕРА».

Пробую сунуться за помощью к этапному коменданту, занимающему роскошный замок в полуверсте от местечка, но слышу хладнокровный ответ: - «Ничего дать не могу. Ищите сами. Все забито еще раньше вас, пришедшими сюда дивизионными обозами и подвижными госпиталями. Лучше всего искать квартир в окрестных селах».

Возвращаюсь в Рудки и, наконец, нахожу на окраине более или менее сносную площадку и с десятков пустующих домов, без страшных предостерегающих надписей.

К вечеру приходят наши, и мы располагаемся, стараясь устроиться поосновательнее, так как по всем данным рассчитывать на скорый выезд отсюда не приходится.

## XII

Весь октябрь мы прожили в Рудках и, в конце концов, так сжились с этим гаденьким местечком, что когда пришло время из него выбираться, то нам уже не хотелось менять его на что-либо другое.

Все это время у подошвы Карпат шли ожесточенные бои с перевалившими через горы австрийцами, которые, не имея сил продвинуться дальше, не пускали, однако и нас ни на шаг вперед.

Уже вернувшись в Россию и проглядывая старые газеты за октябрь 1914 года, я чуть не в каждом нашем официальном сообщении находил неизменную фразу: «к югу от Перемышля упорные бои продолжаются». Всего только семь коротких слов говорили о героической работе войск 24 и 8 корпусов, вынесших главную тяжесть этих боев в продолжении более чем трех недель...

Жизнь в Рудках тянулась еще однообразнее и монотоннее, чем в С. Самборе. Слава Богу, что хоть газеты нам удавалось доставать на вокзале, куда их привозили офицеры и солдаты железнодорожного батальона, обслуживающие линию. Довольствоваться приходилось большей частью «Киевлянином» и «Киевской мыслью», получавшимися на 3-4 день, за неимением же их читали и Львовскую «Прикарпатскую Русь», небольшую газетку, несимпатичного, слишком уж официального пошиба. Столичные газеты попадали в наши руки лишь иногда, почему и считались большой редкостью.

От нечего делать ездили мы раза два в соседние леса на охоту за дикими козами, этими грациозными животными, совсем неизвестными в наших краях. Галицийские помещики их очень берегут и еще раньше мы не раз встречали на лесных полянах невысокие навесы с кормушками для подкармливания коз по зимам.

Охоты, конечно, были безрезультатны, – быстроногие козы лишь мелькали перед нами между деревьев и наши выстрелы из казенных винтовок пропадали даром...

В одну из таких поездок нагнали мы на шоссе белокурую, голубоглазую польку, хорошенькую девушку лет 16-17, на вид интеллигентную, с которой у

нас завязался интересный разговор, - она недурно говорила по-русски. Львовская гимназистка последних классов, она зимовала в Рудках и в этот момент несла обед своим домашним, рывшим картошку где-то в поле.

«Что же, паненка, разве вы так недовольны приходом русских?» – спросили мы ее, наконец, заметив, что наша собеседница смотрит на нас что-то не особенно приветливо.

Ответ получился и скорее и категоричнее, чем мы этого ожидали:

«Нет! За что мне их любить?... Они здесь все попалили, все пограбили, нарыли в полях окопов, так что не пройдешь... А потом в России нет конституции для поляков», - неожиданно закончила девица.

В первую минуту мы были даже озадачены, ибо никак не ожидали такого финала.

«Ну, что ж такого, что нет... Ведь и в Галиции сейм не для одних поляков – там и русины, и евреи...»

«Это ничего, все-таки хоть какой-нибудь сейм, да есть, а вас нет ничего...»

«Зато наши хлопы (крестьяне) живут гораздо лучше ваших», - пробуем мы побить хоть этим юную оппонентку, - «у них и земли больше и халупы у них лучше, и живут они богаче ваших»...

«А что ж такого... На то ж они хлопы!...» – резко бросила она и свернула на межу, решительно тряхнув своими белокурыми косами.

И мой спутник и я только руками развели... Ну и взгляды у галицийских поляков... Немудрено, что у несчастных «хлопов» такой жалкий, приниженный вид: «на то ж они хлопы...»

С утра до вечера грохочет артиллерия под Карпатами, доносясь к нам глухим непрерывным рокотом: «Упорные бои продолжаются»... Время от времени встречаем на вокзале офицеров боевых полков, дерущихся там, слышим рассказы, как в их частях осталось по 5-6 офицеров вместо 50-60, в каких адских условиях приходится жить на позициях нашей многострадальной пехоте.

Дело в том, что в районе С. Самбора и далее на север по направлению к Хырову, наши окопы тянулись вдоль самых Карпат, австрийские же позиции были на склонах гор, и австрийцы видели нас, как на ладони. Когда в конце октября мы шли к Хырову мимо этих позиций, то лишь диву давались, как могли наши стратотерпцы жить в таких невозможных условиях. Лишь тогда нам стали понятны слышанные в Рудках рассказы о том, что только ночью, да в туманные или дождливые дни мы могли в наших окопах поднять головы, в остальное же время приходилось сидеть, скорчившись, поминутно рискуя получить в лоб пулю, от постоянно державших нас на прицеле австрийцев.

Объяснились также для нас и те поезда, так называемых «палечников» (раненных в пальцы рук, иногда ног), которые приходили из-под Карпат и разгружались в Рудках. Мы перестали удивляться тому, что измотанный и физически, и морально солдат, наконец, не выдерживал и, придя в отчаяние, отстреливал себе пальцы, даже сознавая, что рискует за это попасть под суд.

«Прямо беда», - жаловался мне в Рудках один военный врач, - «строевое начальство требует от нас точного заключения, стоит ли передо мной настоящий ранены или «палечник». Ну могу ли я с легким сердцем засвидетельствовать последнее, прекрасно сознавая, что этим я подвожу его под расстрел?... Ведь «палечничество» при данных условиях окопной жизни – не более, как своего рода психоз, результат того, что больные, натянутые нервы,

наконец сдают и человек идет на все, лишь бы избавиться от этих условий... Ну и кривишь душой...»

«Но чего только они не придумывают», - говорил мне в другой раз про «палечников» тот же доктор, - «от выстрела в упор, конечно, бывает ожог, которым «палечник» себя и выдавал. Как только весть об этом дошла в окопы, почти все «палечники» с обожженными ранами стали неизменно говорить, что ожог – результат ранения разрывной пулей. Тогда где-то в тылу были произведены соответствующие опыты на трупах и оказалось, что при выстреле в упор обыкновенной пулей, ожог бывает у *входного* отверстия раны, разрывная же пуля обжигает *выходное* ее отверстие. После этого «палечников» опять стали ловить, но вскоре обожженные раны почти совсем прекратились: по свидетельству из окопов или стала применяться товарищеская услуга (стреляли друг в друга с небольшого расстояния), или попросту высовывали из окопа руку, а то и ногу, которые через минуту пронизывались австрийскими пулями...»

Как бы то ни было, но по приказанию высшего начальства поезда с «палечниками» не пропускались дальше Рудок. Здесь их разгружали, «самострелов» подлечивали в специально для того назначенном полевом подвижном госпитале и вскоре отправляли обратно в окопы.

В двадцатых числах октября мимо Рудок пошли многочисленные эшелоны каких-то второочередных полков, перекидывавшихся сюда из-под Ивангорода. Пробовал я узнавать от солдат (офицеры что-то не попадались) о положении дел на тамошнем театре, но толку не добился. Дальше фраз: «весь полк наш разбили...» рассказ обычно не двигался. Уже потом, после многих наблюдений я убедился, что узнавать о каком-либо боевом деле от солдата – активного участника его (тем более раненного) предприятие в большинстве случаев совершенно бесполезное, ибо все происшедшее совершенно своеобразно преломлялось в психике рассказчика и освещалось им исключительно под углом собственных, личных переживаний, отрешиться от которых ему было чрезвычайно трудно.

С С. Самбором, где стояло наше начальство и все корпусные учреждения, у нас была довольно тесная связь, поддерживавшаяся, впрочем, жаждой всеми нами вестей из родных краев: приходившая из России почта, прежде всего, поступала в штаб батальона, куда мы за ней и ездили на разных случайных поездах.

Однажды узнаем, что в Самбор повадился летать австрийский воздушный хищник. В определенный час с подоблачной выси начинал доноситься характерный треск австрийского аэроплана, и вслед за тем в районе Самборского вокзала начинали падать сброшенные им бомбы. Правда, сильных разрушений они не причиняли, но жертвы все-таки бывали. Стали уже поговаривать, что командир корпуса собирается наполнить вокзал пленными австрийцами и показать это (только показать) Самборским городским деятелям, чтобы они могли известными им способами довести об этом до сведения австрийских военачальников.

Не знаю, выполнил ли свое намерение командир корпуса, но связь Самбора с австрийским штабом была установлена другим путем: стоило ан вокзале встать с вечера двум нашим пушкам, специально приготовленным для встречи непрошеного гостя, как полеты его прекратились совершенно. Быть может это было простое совпадение, но уже много зарегистрированных случаев

шпионажа со стороны некоторой части местных жителей, заставляло предположить, что тут дело было не чисто.

Вот и октябрь подходит к концу. Идут вести о том, что австрийцы оставляют на произвол судьбы Перемышль с его гарнизоном, к которому они приблизились в период своего последнего наступления в конце сентября. Со дня на день мы ждем приказа трогаться вперед и наконец 25 октября оставляем Рудки, к которым уже успели привыкнуть.

В третий раз приходим в Н. Самбор. За это время он уже значительно русифицировался, – появились русские магазины, чаще слышится на улицах русская речь, рынок оживлен еще больше, чем полтора месяца назад. А главное – на каждом перекрестке стоят наши, русские городовые...

Опять две ночи ночуем здесь, но уже не в «Имперiale» (за это время у него окончательно испортилась репутация...), а в пустой квартире директора какого-то коммерческого училища и затем пускаемся в дальнейший путь на Хыров через дер. Старосоль<sup>1</sup>, верстах в 12 от С. Самбора, в который теперь уже не заходим.

За время октябрьских боев бедный С. Самбор еще больше пострадал, так как был под огнем австрийской тяжелой артиллерии и по рассказам бывших там наших солдат, редкий дом этого местечка не пробит теперь австрийским чемоданом.

Досталось и домику мирового судьи «мазепинца», в котором мы жили: целый угол его оторвал австрийский снаряд, и злополучный судья вместе со своей матерью должен был перебраться в подвал, где и прожил весь октябрь.

Узнав обо всем этом, я невольно вспомнил молящихся Самборских женщин. Горемычные, целы ли вы?... Удалось ли вам сберечь себя и своих ребят?...

### XIII

Дорога на Старосоль идет мимо тех позиций, о которых я говорил выше. Время от времени попадаются грандиозные воронки от австрийских чемоданов – сажени две, три в поперечнике и до сажени глубины. Вероятно, работали 8 и 12 дюймовые австрийские пушки. Старосоли также досталось от этих чемоданов, – странное впечатление производят ее дома со срезанными углами, оторванными стенами, обнажившими внутренности старосольских жилищ.

Довольно большое местечко Хыров.

Налево на горе белеют стены большой иезуитской коллегии, известной на всю Галицию. Отцы иезуиты до одного человека остались на месте, и наш доктор заезжал к ним, когда мы стояли еще в С. Самборе. По его рассказам иезуитская братия относилась к нам с явным недоброжелательством и не стеснялась высказывать свою уверенность в том, что в Галиции мы долго не заживемся.

Тогда мы к этому относились с добродушной усмешкой и, не подозревая, что святые отцы оказались гораздо проницательнее нас самих.

Эту коллегию, превращенную нами впоследствии в тифозный госпиталь, я вспомнил летом 1915 года, прочтя в газетах, что австрийцы, найдя в ее стенах наших тифозных, оставленных нами при «великом отходе» из Галиции, сожгли и ее, и всех, лежавших в ней больных.

---

<sup>1</sup> Ранее в тексте «Старосело»(см. стр.19-20), проверить одно и то же или нет?!! (прим. Ю.Б.)  
сноску после проверки убрать

Хыров совсем недалеко от Перемышля. Только 40 верст отделяют нас от австрийской твердыни, вновь отрезанной теперь от всего мира. Любопытный эпизод о его осаде рассказывал мне один пехотный офицер.

Когда Перемышль был обложен нами еще в первый раз, двое наших солдат поползли ночью под один из фортов, и принялись резать опутывавшую его проволоку. Страшная работа наших смельчаков шла в непосредственной близости от форта, – только несколько десятков шагов отделяли их от его вершины и сидевших там австрийцев. И вот наши «земляки» так увлеклись своим рискованным делом, что прозевали приближение рассвета, а когда спохватились, что им пора возвращаться, то этого сделать уже было нельзя без риска наверняка погибнуть на обратном пути к своим окопам.

Что делать?...

Земляки посоветовались и решили, *притворившись на весь день мертвыми*, ждать приближения следующего вечера. Сказано, – сделано, и эти герои буквально от зари до зари пролежали под австрийской проволокой в тех самых позах, в каких их застал предательски подкравшийся рассвет. Чувствуя на себе взгляды австрийских часовых, они, конечно, не смели шевельнуться ни одним членом, и только вечерняя тьма, окутавшая форт, позволила им расправить онемевшее тело и отползти к себе...

В Хырове мы не останавливаемся и, пользуясь жесткой дорогой, повертываем круто налево и идем вдоль двухколейного жел.-дор. Пути, тянувшегося от Львова через Перемышль и Хыров. Он пока мертв, потому что еще не восстановлены взорванные австрийцами мосты. Работа по их исправлению уже начата жел.-дор. Батальоном, которому в Галиции вообще не мало дела.

Начинается горная страна.

Поля и равнины остаются за спиной и по обеим сторонам нашего пути теперь возвышаются покрытые лесом горы. Это еще не настоящие Карпаты, но нам, жителям равнин, так непривычным с утра до вечера видеть перед собой эти нескончаемые горы.

Ночуем в небольшом лесном поселке Терло.

Жители рассказывают разные страсти про зверства мадьяр, показывают дерево, у которого ими были расстреляны и мальчик-галичанин, понесший обед своему отцу, работавшему где-то в лесу и заподозренный в сношениях с русскими и несколько взрослых, в домах которых мадьяры нашли русские газеты и русские деньги.

На другой день, с раннего утра трогаемся в дальнейший путь, имея своей целью городок Лиско, расположенный у входа в Лубковский перевал. Однако в один переход добраться до него не удастся и, миновав большую, но пока пустынную станцию Устржики, мы на ночь останавливаемся в пустом фольварке у деревни Ольманица.

С каждой верстой, с каждым новым поворотом дороги разворачиваются дивные горные виды, четко рисующиеся перед нами в чистом морозном воздухе. Теперь эти горы покрыты уже потерявшим свое убранство лесом, но как они должны быть хороши в свежем весеннем наряде...

У последнего перед Лиско поворота рядом с дорогой возвышается громадный остроконечный утес, торчащий в небо – «Скала ведьмы», как мы узнали несколько дней спустя от местных жителей, рассказывавшим нам, что, согласно преданию, в эту скалу была, по молитвам своей благочестивой матери, превращена одна девушка – ведьма.

От «Скалы ведьмы» открывается широкий вид на долину Сана, с приютившимся на его берегу Лиско.

Сыновья одних и тех же родителей, Карпатских гор, Днестр и Сан совсем непохожи друг на друга. Насколько первый, даже выйдя на равнину (например, у Галича) беспокоится и, бросаясь от берега к берегу, пенится и журчит, настолько второй здесь, в этой горной стороне, тих, спокоен и солиден своей многоводностью.

Из-за гор левого берега Сана доносится пушечная стрельба, и над ними висят уже знакомые нам теперь красивые облачка шрапнельных разрывов.

Это наши войска дожимают австрийские аръергарды, упорно не желающие опять уходить в Венгрию.

#### XIV

Уже на другой день после нашего прихода в Лиско утихла канонада и пропали белые шрапнельные шарики, висевшие над горами левого берега Сана: австрийцы отступили, и наши полки вновь направились за ними к Венгерскому рубежу.

Поговаривают, что и мы отсюда направимся прямо в Венгрию и наши офицеры уже мечтают об известном Токайском.

Лиско далеко от Самбора: пуст, грязен, непригляден. Жителей, кроме евреев не видно. Постоянный, австрийский мост через Сан сожжен и рядом с ним стоят два наших – наведенный самым первым понтонный и другой, более солидный, выстроенный нашими саперами. Так как саперные роты теперь уже ушли в Карпаты вместе со своими дивизиями, то восстанавливать австрийский мост будет понтонный батальон, который с наступлением зимы останется без своей настоящей работы. Громадный обоз этого батальона стоит теперь рядом с нашим на обширной луговине возле самого Лиско.

В самом городке места для нас не нашлось, и мы стоим в полутора верстах от него в небольшом поселке. Солдаты расположились в двух десятках тесных халуп, а мы – в небольшом домике каких-то утекших полек, не то учительниц, не то фельдшерниц.

Каждый день мы смотрим из окошек на длинные серо-голубые ленты,двигающиеся по шоссе мимо нас. Это идут из перевала Цисна колонны пленных австрийцев, только что взятых нашим корпусом. Третьего дня их прошло 800, вчера 950, сегодня утром провели партию в 1200, а сейчас опять шагают несколько сот... Их конвой невелик: партию в несколько сот человек сопровождают в лучшем случае десяток казаков, да и те очень мало внимания обращают на вверенных их надзору пленников...

«А не разбегутся они у вас?» – спрашивали мы не раз конвойных, - «ведь их вон какая орава...».

«Куда они денутся, ваше благородие...» - ухмылялись казаки, - «они до смерти рады, что в плен-то попали...».

И действительно, жалкий, заморенный вид пленных, еле волочащих ноги, без слов говорил, что им теперь не до побега.

Целую неделю простояли мы в Лиско в выжидательном настроении. Штаб корпуса уже ушел в горы по направлению к местечку Цисна, расположенному в самом центре Карпатского хребта, куда предстояло двинуться и нам.

Ходят слухи о том, что небольшие австрийские отряды время от времени показываются из лесов, густо покрывающих все окрестные горы, и обижают

наши тыловые учреждения. Рассказывают, что за день до нашего прихода в Лиско такая неприятность случилась с каким-то обозом, шедшим по горной дороге где-то в окрестности: на ближайшей горе вышли из леса человек пять австрийцев, уставили пулемет и принялись «поливать» злополучных обозников, среди которых, конечно, поднялась невообразимая паника. Жертв, кажется, не было, но переполох был немалый, чего, видимо, и добивались австрийцы: постреляв минут пять, они забрали свой пулемет и скрылись бесследно в густом лесу.

Наконец, 9 ноября, получаем приказание, идти в горный проход к местечку Балигород. По последним сведениям наши части находятся уже у самого выхода на Венгерскую равнину. Опять вспоминаем про Токайское вино и готовимся к походу по Венгрии. Лично мне он рисуется не таким простым и безопасным, как наша «прогулка» по Галиции – надо ожидать партизанской войны, так как мадьяры, вероятно, не будут подобно галичанам мириться с нашим пребыванием в их пределах.

Среди дня пускаемся в путь по довольно пустынному проходу. И большое, «государственное» шоссе и железнодорожный путь идут верстах в 20 правее нас по Лупковскому перевалу.

У самого Лиско встречаемся с новой партией пленных человек в четыреста. Боже, до чего они худы и оборваны!... Половина из них буквально еле волочит ноги, завернутые в какие-то лохмотья, а несколько человек уже совсем обессилевших едут сзади на местной подводе. Потчует горемычных вояк своими папиросами, и наши портсигары пустеют в мгновение ока.

Тут же наблюдаем трогательную картину встречи одного пленного со своей женой, выбежавшей на шоссе встретить эту партию. С громким, радостным возгласом они бросились друг к другу и замерли в крепком объятии.

«Сердечная, сколько, чай, партий без толку пропустила...» – говорят солдаты, глядя на молодую, миловидную польку с истощенным, бледным, но в эту минуту счастливым лицом.

С каждой верстой горы все теснее и теснее сдвигаются вокруг нас, проход суживается, но все же мы не видим ни диких, нависших скал, ни отвесных обрывов, ни пропастей. Очертания Карпат, сплошь заросших лесом, мягки и округлы, что собственно и составляет их особенность. Теперь горы белы от подошвы до вершины – уже два дня, как выпал небольшой снежок, еще не успевший осыпаться с покрытых им деревьев.

Изредка попадаются одиночные австрийцы, бредущие нам навстречу.

«Кто такой?» – спрашиваем одного.

«Пленный...»

«Куда идешь?...»

«В Лиско... До коменданта...»

Удивительно обязательный враг... На германском фронте вероятно этого не встретишь.

Минуем небольшие деревушки Хочев и Захочев и при этом вспоминаем рассказ одного офицера нашей телеграфной роты о том, как две недели назад он получил приказание повести линию к Захочеву, где должен был быть штаб нашей дивизии. Доведя линию до Лиско, офицер собрался трогаться дальше, но во время был остановлен каким-то пехотным начальством:

«Куда это вы отправляетесь?»

«Да вот приказали вести линию на Захочев...»

«Это значит прямо к эрц-герцогу?»<sup>1</sup> Вы с ума сошли... Какой там Захочев?... Ведь и Хочев еще не взят, а вы – Захочев...»

Выяснилось, что полученное приказание – результат какого-то недоразумения.

Скоро и Балигород. С каждой верстой мы поднимаемся все выше и выше, но подъем идет исподволь и почти не заметен.

Уже почти по темному приходим к цели нашего сегодняшнего перехода. Балигород – небольшое местечко, затерявшееся среди Карпат, состоит, кажется, всего из одной улицы, пересекающей небольшую площадь с неизменным «рынком», являющимся неременной принадлежностью каждого галицийского городка.

Как и в Самборе останавливаемся в домике местного мирового судьи, очень милого, обязательного человека, на этот раз уже, кажется, «русософила». По его словам он совсем отвык от людей, почему и был рад нашему приходу.

На следующее утро вместе с ветеринарным врачом и одним из офицеров предпринимаю небольшую прогулку в окрестные горы. Здесь снегу значительно больше, чем в Лиско и наши лошади вязнут в нем почти до колен. С трудом двигаемся через какие-то канавы, объезжаем какие-то изгороди, овраги и, наконец, выбираемся на свободное место. Высоко впереди нас зеленеет засыпанный снегом густой сосновый лес, до которого мы и хотим добраться. Еще минут десять карабкаемся по глубокому снегу и, наконец, достигаем его опушки.

Какое волшебное зрелище!

Точно замороженный стоит дремучий лес. Могучие сосны, ели и пихты покрыты толстым белым покровом свежего, молодого снега. Несмотря на яркий солнечный день под сенью этих покрытых белым саваном великанов царствует таинственный полумрак.

Ни единое движение, ни единый звук не нарушают царящего здесь невозмутимого покоя.

Оборачиваемся назад и любуемся широкой панорамой, раскинувшегося перед нами. Причудливый узор покрытых снегом гор замыкает ее по горизонту, а внизу, под нашими ногами лепятся крохотные домики Балигорода, вьется лента шоссе и ползут черные точки обозов. Нам и в голову не приходило, что всего через 3-4 месяца эти мирные долины, эти безмятежные вершины и, наконец, этот скромный и тихий Балигород, будут ареной жесточайших боев. Уцелел ли после них наш радушный хозяин – мировой судья?

Через час мы возвратились домой, где нас ждали печальные новости, только что привезенные из Цисны, где стоит штаб корпуса. Оказывается, что 48-я дивизия со своим командиром генералом Корниловым прорвалась в Венгрию и после боя с подавляющими австрийскими силами у города Гуменное, потеряла связь с корпусом, т.е. другими словами оказалась отрезанной.

Не успели мы как следует обсудить это невеселое известие, как из штаба корпуса пришел срочный приказ немедленно возвратиться в Лиско.

«По-видимому, в Венгрию не так-то легко попасть», - думали мы покидая Балигород и к рассвету следующего дня уже были опять в Лиско на своих прежних квартирах.

---

<sup>1</sup> В то время неприятельскими войсками, оперировавшими против нас командовал эрц-герцог Карл, теперешний австрийский император. (прим. авт.)

## XV

Однако везет 48 дивизии...

Уже через два дня по возвращении в Лиско, мы узнали, что она не только пробилась через окружавшие ее австрийские полчища, но даже сумела привести с собой взятых ранее пленных, в том числе одного австрийского генерала. От наших же саперных офицеров, бывших в этой дивизии, увидеть которых мы уже отчаялись, мы услышали, что начальник дивизии генерал Корнилов лично участвовал в отражении австрийских атак и с винтовкой в руках лежал среди солдат в передовой цепи.

Дня за два до ухода из Лиско на площадке около нашего обоза опустился наш аэроплан с летчиком прапорщиком Колчиным и наблюдателем прапорщиком Эрдели. Они летели в Карпаты на разведку и вследствие каких-то неисправностей мотора не могли долететь до штаба армии, который в то время стоял где-то около Санока или Кросно.

Летчики с возмущением рассказывали, что, перелетая через Сан и уже опускаясь на землю, они были обстреляны какими-то нашими «земляками», которые вообще плохо разбираются в национальных цветах, имеющихся на крыльях, как наших, так и вражеских летательных машин.

С чисто русским гостеприимством и хлебосольством мы угостили наших нечаянных гостей вкусным обедом и на вызванном из штаба автомобиле они укатали в свою резиденцию, спеша доложить начальству добытые сведения. На другой день Колчин вновь приехал в Лиско и, приведя в порядок мотор, улетел от нас на своем «Фармане», быстро исчезнув в синеве ясного ноябрьского дня.

20 ноября оставили мы Лиско, прожив в нем почти три недели, считая и трехдневную экскурсию в Балигород. Определенно говорят, что наш корпус, смененный в этом районе второочередными сибирскими стрелками, пойдет теперь к Кракову. По-видимому, придется отложить знакомство с Токаем.

Вновь начинается бродячая жизнь, от которой опять успели отвыкнуть. Карпаты остаются влево, и мы теперь идем по их предгорьям, любуясь живописными долинами, запорошенными свежим, но не глубоким снегом.

Санок от Лиско всего в 20 верстах, и еще засветло мы приходим в этот симпатичный городок, напоминавший нам Новый Самбор. Правда, в нем нет электричества, и он немного попорчен пожаром, но зато на небольшой площади стоит памятник Костюшко, такие же модернизированные дома, такие же уютные особнячки и оживленные улицы, с громкими названиями: «Улица Шопена», «Улица Коперника», «Улица 3 мая» (дата самой либеральной польской конституции, утвержденной в 1791 г.).

В Саноке проводим весь день 21 ноября и утром 22 отправляемся дальше на Кросно. Это был тяжелый 40-верстный переход по отвратительной дороге, под скверным, холодным дождем, быстро смывшим легкий снежный покров.

Среди дня останавливаемся на большой привал в какой-то маленькой деревушке. Входим в первую попавшуюся халупу с намерением в ней закусить и немного отдохнуть. Ее обитатели – молодая хозяйка, двое славных ребят лет четырех-пяти и древняя старуха, как потом выяснилось, мать где-то воюющего в рядах австрийской армии хозяина – с удивлением и некоторым страхом смотрит на нас. По лицам всей компании видим, что мы для них, – прежде всего враги, завоеватели и как-то не по себе делается от сознания этого.

Хозяйку мы застали за довольно необычным, на наш взгляд, занятием – она тщательно перемывала старую картофельную шелуху.

«Что это вы делаете?» - спрашиваем.

«Есть будем!» – отрывисто отвечает женщина, не прерывая своего дела.

«Это?... Есть?... Да разве больше нечего есть?...»

«Ниц няма, пане... Хлеба ниц няма, соли ниц няма, мяса ниц няма, цукру (сахару) ниц няма... Вишестко (все) позабирали...» – говорит она быстро, роняя слезы в шайку с шелухой.

Боже мой, в каких адских условиях приходится теперь жить несчастным обитателям Галиции, меньше, чем кто-либо, повинным в этой проклятой войне... Во имя чего голодают эти черноглазые ребятишки, во имя чего страдает эта мать, принужденная кормить их тем, что она раньше давала только своим свиньям, думаю я и горькой обидой за человечество сжимается мое сердце...

В это время мимо окон халупы проходила большая партия пленных. Молодая женщина оставила свою шелуху и выбежала на улицу. Вышел и я вслед за ней. Она стояла у самого края дороги и напряженно вглядывалась в ряды месивших дорожную грязь австрийцев. Но недолго стояла бедная женщина, – слезы брызнули у нее из глаз и, закрыв лицо руками, она убежала в свою халупу...

С тяжелым чувством оставили мы невзрачную деревушку, провожаемые низкими поклонами и нашей хозяйки и ее свекрови: мы оставили им и хлеба и сахару и накормили ребят походными солдатскими щами. Но надолго ли им хватит этих небольших запасов, как переживут они зиму, если район военных действий будет недалеко отсюда? Ведь через месяц, другой, Галиция будет разорена и разграблена буквально дочиства, в ней не найдешь ни коровы, ни даже курицы, ни фунта хлеба, ни клочка сена...

В Кросно приходим ночью, останавливаемся где-то на окраине и с раннего утра следующего дня отправляемся дальше, не успев ознакомиться с этим городком.

Через час проходим мимо нефтяных промыслов, расположенных в нескольких верстах от Кросно. Конечно, они теперь заброшены, и безжизненные вышки нефтяных скважин мрачно смотрят на нас, возвышаясь среди столпившихся вокруг них остальных промысловых построек, таких приземистых и невзрачных по сравнению с этими черными, промасленными великанами.

К вечеру 24 ноября добираемся до городка Ясло, самого западного пункта Галиции, до которого мне привелось дойти (от Ясло всего сто с небольшим верст до Кракова).

Это совсем недурной городок, по количеству населения до войны, вероятно, не уступавший Новому Самбору. Хорошо обстроенные улицы, в большинстве обсаженные деревьями, недурные магазины, уютные садики. Только жителей маловато, да и те запуганы и смотрят волком...

Оба моста (и железнодорожный и обыкновенный) через местную реку Вислоку значительно попорчены австрийцами – деревянный сожжен, а у железного обе фермы подорваны и сброшены с устоев.

Однако возобновлять их нашим железнодорожникам так и не пришлось. Через неделю после нашего прихода в Ясло над городком уже грохотали их взрывы, разрушавшие станцию и еще больше портившие мосты. Вновь приходилось отходить (как мы говорили «играть на гармонике») ибо австрийцы опять прорвались через Карпаты и у Лиско, где их не смогли удержать сибиряки, и у Кросно, через известный Дуклинский перевал и, наконец, со

стороны Кракова, где, наступая от местечка Горлица, они напирала на наш корпус.

И хотя досадно было покинуть уютную, прекрасно обставленную квартиру какого-то местного чиновника, в которой мы нашли себе приют, приходилось торопиться «играть на гармошке» – выстрелы недалекого боя, разбудившие нас утром 30 ноября, с каждым часом все приближались и приближались.

С трудом выбрался с места стоянки наш громоздкий обоз: еще с вечера шоссе было запружено в три ряда отступавшими обозами и корпусных учреждений и боевых частей нашего корпуса. А сверху в это время непрерывно неся сухой треск мотора австрийского аэроплана, парившего над нами и неизменно появлявшегося в периоды наших отступлений.

Теперь на него никто не обращает внимания, – все торопятся засветло оставить Ясло, который уже на другой день стал обстреливаться тяжелой артиллерией австрийцев.

Еще двое суток трепанья по вновь размокшим дорогам Западной Галиции и мы, окончательно оставив Карпаты и выйдя на равнину, вступили в Ржешов, чуть ли не третий по величине город Галиции после Львова и Перемышля. Прекрасные здания, хорошие магазины, недурной вокзал и уютный, как бомбоньерка театр, в котором теперь расположился какой-то Красно-крестный лазарет.

Здесь устроил свою резиденцию и штаб нашей (8-й) армии, заняв на окраине города громадный замок, окруженный высокими стенами и опоясанный наполненным водой рвом.

Нашли мы здесь и богатый магазин экономического общества офицеров Киевского военного округа, в изобилии снабженный и всякой снедью от окороков до шоколада и печенья и массой всевозможных теплых вещей. Последнее оказалось нам всем особенно на руку: надежда на скорое возвращение домой исчезла, а между тем уже наступил декабрь, и пора было ждать настоящих морозов. По рассказам местных жителей декабрь и январь – самые суровые месяцы галицийской зимы.

Запасся разным теплым одеянием и я, но оно понадобилось мне лишь ... для возвращения в Россию. Еще с месяц назад обострившаяся болезнь заставила меня покинуть батальон и в санитарном поезде отправиться в Львов, куда я и приехал 16-го декабря вместе со своим денщиком.

Однако рассмотреть Львов я мог лишь по пути с вокзала в госпиталь и обратно, когда неделю спустя, получив дальнейшую «проходную» до Киева, я покидал столицу Галиции. Оживленные улицы, шикарные магазины, быстро мчащиеся трамваи, чрезвычайно изящный памятник Мицкевичу, роскошный вокзал Львова (увы, разрушенный нами при оставлении его летом 1915 г.), промелькнули передо мною, как в калейдоскопе, не зацепившись, как следует, в памяти.

Через сутки наш поезд медленно подходил к Радзивиллову, пограничной жел.-дор. станции.

Сейчас будет Россия, наша дорогая Россия, к которой рвались все наши помыслы за эти четыре с половиной месяца.

Вот какая-то пограничная деревушка, вся покрытая толстым снеговым покровом – последние два дня шел сильный снег, завернул настоящий декабрьский русский мороз и теперь все кругом бело и чисто.

Из каждой трубы деревушки поднимаются тонкие, прямые столбы дыма, неподвижно стоящие в морозном воздухе.

Около самого полотна, на задах своего двора крестьянин палит свинью – послезавтра Рождество.

Поезд замедляет свой ход, и в последний раз вздрогнув, останавливается у Радзивилловского вокзала.

Россия... Настоящая... Наконец-то...

Оглядываюсь на своего Денисова (денщика) – у него на глазах слезы...

\* \* \* \* \*

*М. Л-вЪ*



На снимке, сделанном по возвращении М.Н. с фронта (дата снимка не определена), семья Ляховых (слева направо): Любовь Александровна, Михаил Николаевич, Сережа, Боря, Мария Николаевна – мать Михаила Николаевича (урожденная Москвитинова).

## Послесловие

Мне неизвестно, подвергались ли заметки, написанные Михаилом Николаевичем перед публикацией в Казанской газете в 1917 году какой-либо редактуре. Михаил Николаевич неплохо владел литературным языком, живо и интересно описывая будни саперного батальона.

Михаил Николаевич вырос в обедневшей дворянской семье. Его отец, Николай Алексеевич был юристом, прожил всего 47 лет. По этой же стезе пошел позже и Михаил, закончивший юридический факультет Казанского университета. До революции Михаил Николаевич был в ранге «кандидата на судебные должности». Его мать, Мария Николаевна – из богатого рода Москвитиновых. На сохранившихся фотографиях она всегда в черном, и, как описывает ее дядя Сережа, была «чопорной, официальной бабушкой». Но ведь ее старший сын Алексей ко времени этих фотографий уже ушел из жизни, не дожив и до 35 лет...

В конце XIX века мальчик Миша Ляхов был отдан родителями в Симбирский кадетский корпус. О непростой жизни в кадетском корпусе Михаил Николаевич в 1933 году (уже в зрелом возрасте) написал интереснейшие записки, которые посвятил «своей внучке Ксаночке». Тогда Ксаночке было всего годик, и она была первой внучкой Михаила Николаевича. Теперь ей уже 70 лет, а у Михаила Николаевича к началу XXI века насчитывается 50 прямых потомков.

Кроме того, Михаил Николаевич написал трактат о школе имени Песталоцци, где учились его дети. Это была знаменитая школа города Казани. Родители братьев Ляховых уделяли большое внимание и школе, и внешкольному воспитанию детей. Супруга Михаила Николаевича работала в школе учительницей, Михаил Николаевичем был непременным участником школьных дел.

Михаил Николаевич и его жена Любовь Александровна (урожденная Пятницкая) сумели создать удивительный мир дружной семьи. Причем семьи в широком смысле этого слова. Будучи очень дружны со своими близкими родственниками – большой казанской фамилией Бельковичи, они организовали, и длительное время поддерживали в своем доме молодежный кружок под названием «ЛяхБельТрест», о котором пишут в своих воспоминаниях и дядя Сережа и мой отец. Кружок этот посещали не только родственники, но и близкие друзья Сергея и Бориса. На многих из них кружок оказал немалое влияние и в выборе жизненного пути и в нравственных ориентирах.

Вот как описывал это явление один из его участников – Яша Левитин:

«...это не просто интересное и веселое времяпрепровождение, а целая система (научная!) воспитания не только своих, но и чужих детей и подростков.

А, кроме того – большой и редкий педагогический талант.

И, наконец, - огромное богатство души, высокая культура, большие знания.

Таковыми были родители Сергея и Бориса Ляховых, – Михаил Николаевич и Любовь Александровна, в доме которых возник и функционировал «ЛяхБельтрест». Незаменимыми и постоянными руководителями они были. Руководство их было не только не навязчиво, мы его просто не замечали. Для нас они сумели стать просто старшими товарищами, причем самыми активными. ...

...Обстановка доброжелательности, сердечности, живой пример счастливой дружной семьи, какой была семья Ляховых, конечно оставил у нас большой след».

Другой неизменный участник «ЛяхБельТреста» - Геннадий Казанский, впоследствии став известным кинорежиссером Ленфильма, в одном из своих фильмов («Грешный ангел», 1962 г.) создал образ педагога (актер Н.Н.Волков в роли Симбирцева), во многом отражающий личные качества Михаила Николаевича.

.....  
Страшные годы сталинских репрессий не обошли стороной семью Ляховых. Михаил Николаевич был арестован по лживому доносу в 1938 году. 26 августа 1939 года из Казанской тюрьмы, где он находился, пришло известие о его кончине. И уже позже(!), в 1940 году он был осужден к 8 годам «за антисоветскую агитацию». Когда, спустя десятилетия, сначала мой отец, а затем и я, обращались в органы госбезопасности с целью узнать подробнее о судьбе М.Н., там отвечали, что так бывало нередко, когда бюрократическая машина НКВД осуждала людей уже после смерти. В 1958 году Михаил Николаевич Ляхов был реабилитирован.

Но могила его безвестна...

...Волею судьбы, 26 августа 1998 года я находился в новгородской глубинке – в церкви деревни Внута, где когда-то служил архимандрит Иосиф, много пострадавший от Советской власти. По моей просьбе священник – отец Михаил, провел отпевание деда Михаила, и затем указал мне прикопать землицу, над которой был совершен обряд, рядом с могилой архимандрита Иосифа.

Так, ровно через 59 лет, по Божьей воле упокоилась душа Михаила Николаевича...

© Ю.Б.Ляхов, 2002 год